

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

ЭКСКЛЮЗИВНО
в ЛитРес:
Абонементе

Сердце Пармы1

Алексей Иванов

Сердце Пармы

«ИП Алексей Иванов»

2000

Иванов А. В.

Сердце Пармы / А. В. Иванов — «ИП Алексей Иванов», 2000

ISBN 978-5-17-079124-8

XV век от Рождества Христова, почти семь тысяч лет от Сотворения мира... Московское княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам соседей, ближних и дальних. Русь медленно наступает на Урал. А на Урале – не дикие народцы, на Урале – лесные языческие княжества, древний таёжный мир, дивный и жуткий для пришельцев. Здесь не верят в спасение праведной души, здесь молятся суровым богам судьбы. Одолеет ли православный крест чащобную нечисть вечной пармы – хвойного океана? Покорит ли эту сумрачную вселенную чужак Иисус Христос? Станут ли здешние жители русскими? И станут ли русские – здешними? Роман Алексея Иванова «Сердце пармы» о том, как люди и народы, обретая родину, обретают судьбу.

ISBN 978-5-17-079124-8

© Иванов А. В., 2000

© ИП Алексей Иванов, 2000

Содержание

Часть 1	6
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	16
Глава 5	21
Глава 6	25
Глава 7	31
Глава 8	37
Часть 2	44
Глава 9	44
Глава 10	48
Глава 11	54
Глава 12	62
Глава 13	71
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Алексей Иванов

Сердце Пармы

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы.
Матфей 5:14*

Часть 1

Глава 1 Мертвая Парма

Зеленое золото Вагирийомы тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хонтуя. Позади остался длинный путь от родного Пелыма, путь извилистый и непростой: через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники у Ялпынга, по отрогам Отортена и на полдень по Каменной ворге до самых Басегов. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы и прощались, отправляя вместе с хонтуем по два-три воина от своих селений. К тому времени как Вагирийому довели до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в семь десятков манси. Оставив плоты у последнего павыла перед устьем Туявита-Сылвы, хонтуй повел караван лесами напрямик к Мертвой Парме.

Вековой ельник заслонил небо растопыренными космами, и только вдали, перед Пармой, вспыхивали слепящие пятна заката среди разошедшихся вершин. На тропе, заросшей орляком, загроможденной обомшелым валежником, было холодно и сумрачно. Сумрачно было и на душе у князя. Прежде чем везти сюда Вагирийому, он объехал свои владения, и теперь с ним лучшие манси, сын Юмшан и сыновья хаканов, с ним пурихумы-жертвы и благословение Ялпынга. Но нет в его отряде людей северной Югры, нету ернов и саранов, нету нагаев, башкортов, казани, сибиров, печоры... Некогда их ждать. Омель уже вбил свой кол.

Древней тропой от Сылвы на Мертвую Парму давно, видно, никто не пользовался. Папоротник, буреломы... Заплыли белой смолой вырезанные на еловых стволах сопры. Затянуло корой вбитые в деревья тамги, что указывают путь. Может, и лесные духи уже покинули парму? Шаман дремлет на спине оленя, держась за подпиленные рога и покачивая шест, на котором тихо звякает бубенчик, отгоняющий духов в тайгу.

Но вот конь под хонтуем вздрогнул, мотнул головой и фыркнул. Зверь раньше человека учует куля, который, почти невидимый, увяжется за путником. Успокаивая, Асыка ласково потрепал коня между ушами. Хороший конек. Нята – Олененок. Два года назад он спас князю жизнь, когда на переправе через вздувшуюся Бур-Хойлу его сбило с ног...

Шаман встрепенулся и затряс колокольчиком, качая рогами мохнатой шапки. Караван выходил к Брошенному Городищу. С болотистой опушки открывался вид на Мертвую Парму. Огромная, похожая на медведя гора заросла могучими деревьями, но все они умерли, стояли сухие, голые, без коры, без хвои, без листьев. От заката лес-покойник пожелтел, как мамонтова кость. Брошенное Городище темнело у подножия горы, одним краем затонув в болоте. Сквозь чахлое, кривое редколесье князь разглядывал его, на ходу отмахиваясь от комаров еловой лапкой.

Валы заросли дремучей и серой от паутины малиной, из которой торчали кривые зубцы частокола. Постройки обрушились. Из сырых ям высовывались сгнившие, осклизлые бревна. Тонкие березки, словно птичья стая, разлетелись по Городищу. Заплесневев по шею, идолы-охранители косо чернели среди белых стволов. Бесстыже ярко горели мухоморы, и пучки поганок дрожали на трухлявых пнях.

Легкий озноб обметал виски князя, заставив вздрогнуть монеты на шапке. Дурное место. Так и чудится желтый, немигающий взгляд куля откуда-нибудь из болота. Ночами духам нравится приходить в покинутые людьми селения и играть там в свою любимую игру – в людей.

Они сидят в ямах, как в домах, ходят в гости, роют землю, таскают бревна, но потом забывают смысл игры и дико скачут по обвалившимся частоколам, вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах... Князь сплюнул в сторону Городища и положил ладонь на тамгу, нашитую на грудь кожаной рубахи.

Караван не спеша двигался вдоль склона Мертвой Пармы. «“Гляден” – так называют ее русы», – думал князь. Понизу гору охватывала ветхая изгородь, клонящаяся то наружу, то внутрь. Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменяясь прелой хвоей и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, застрявшей на отмели времени горой.

Обогнув плечо Пармы, караван миновал ворота со столбами-идолами, чьи остановившиеся глаза налились кровью камского заката. Невдалеке стрельнула искрой темная полоса речушки. Асыка, обогнав шамана, первым вывел Няту к травянистому берегу. Правее, на песчаном обрывчике, стояли балбаны родов – и совсем старые, побелевшие, треснувшие вдоль волокон, и новые, еще желтеющие свежей древесиной. Зверолицые, птицеголовые, рогатые, с человеческими личинами, глубоко врезаемыми в деревянную грудь... Воины каравана спешивались, заходили по колено в воду, умывались. Звеня удилами, шумно пили кони и олени.

Дождавшись, когда Нята напьется, князь тронул его и тихо поехал вдоль берега вниз по течению. Проплыло по правую руку устье Юрчима, и с пригорка открылся весь Шаманский город. Он стоял посреди широкой вырубki, ошетилившихся частоколами и шестами, и над ним огненным крылом Торума взметнулся закат.

По утопанной земле Священной дороги хонтуй медленно приближался к высоким валам с гребнем тына, к сторожевым вышкам на длинных и тонких ногах. По обе стороны дороги из кустов торчали черные головы истуканов. Могучие Перы-защитники высились над стенами, свирепо и невидяще впялившись в путников выжженными дырами глаз. За частоколом виднелись острые углы односкатных пермяцких керку. Над ними густо и враскось взлетали ввысь шесты с колокольчиками, фигурками духов, пучками лент, лисьими и волчьими хвостами, птичьими колодинками. Навстречу хонтую из раскрытых ворот с лаем покатились орава разномастных косматых псов, запрыгавших вокруг Няты. Сквозь собачий брех в городе слышалось отдаленное позвякивание молотков и шорох зернотерки.

Князь остановил коня у моста, переброшенного через ров. Трещали кузнечики, орали вдалеке лягушки, отфыркивался Нята. В проеме ворот появился человек. Он тоже остановился и молчал. Князь не произнес ни слова, разглядывая шамана и поджидая свой отряд. До темноты пришельцам нужно соблюдать молчание, чтобы духи, немые для обычных людей, могли хорошенько вызнать их, а ночью, когда для них наступит время говорить, дали ответ.

Отряд постепенно собирался за спиной князя. Собаки метались под ногами лошадей и оленей, клацали зубами у самых ног всадников, но их никто не гнал ни окриком, ни плетью, ни палкой. Асыка ждал, шурясь на закат и рассматривая город.

Не таким уж и неприступным выглядел он вблизи. Валы начали оплывать. В щелях частокола видны были подпорки, изнутри приставленные к бревнам. Давно не чищенный ров заполняла черная вода, затянутая ряской, над которой дрожали комары. Сторожевые вышки обветшали и рухнули бы под тяжестью двух-трех лучников, а лестницы, ведущие на боевые площадки, недосчитывались ступеней. Только черепа на кольях – олени, медвежьи, человеческие – выглядели устрашающе. На страх и полагались шаманы, оберегая свой город. Но тот враг, который придет, не испугается ни черепов, ни идолов, ни богов. Он устрашится лишь того, что сейчас принес сюда в своей груди князь Асыка.

Город шаманов умел многое. Он восходил к богам и нисходил к ящерам, изгонял демонов и призывал духов, он знал, как направить умершего к Полночному морю и как вернуть его обратно, он считал звезды, предугадывал будущее и помнил прошлое, он умел лечить людей и добывать металл, сочинять песни и вырезать идолов, он ссорил и мирил народы. Но шаманы не

умели двух самых простых вещей в этой жизни – кормить себя и бороться с судьбой. Он, князь Асыка, пришел сказать, что сделает это за них, если они поверят ему, поймут его и передадут его волю Вагирйоме.

Последний воин нагнал поджидающий караван, и князь движением колен направил Няту по мосту. Человек в воротах отступил в сторону, пропуская князя, и пошагал вслед за ним рядом с шатром Вагирйомы, звоном бубенчика на шесте отгоняя тени зла от ее зеленого золота.

Глава 2

Хумляльт

Верховный шаман – пам – проснулся словно от толчка. Значит, где-то на другом краю Вышкара в это время проснулся князь Асыка. Тонкие нити уже связали пама с хаканом, хотя они еще и не видели друг друга. Пам тяжело поднялся на своем низком лежаке и прикрыл ладонями глаза, останавливая бешеное мельтешение миров, сквозь которые навстречу пробудившемуся разуму неслась издалека его душа. Опершись на посох, пам встал, нашарил на столе бронзовую рукоятку огнива, высек искру на трут из бересты и, поддувая, запалил о него острый конец лучинки, пропитанной горючей смолой. «Пусть хакан видит свет в моем окне и приходит сюда», – подумал пам, опуская лучинку в горшок на плоском блюде, залитом водой.

Посохом открыв дверь, пам вышел из своего керку во двор. Над землей, над Вышкаром, дико лучилась полночь. Луна висела над Мертвой Пармой, превращая белый сухостой в колючие кристаллы хрусталя, которыми гора обросла, как изморозью. Где-то в страшной дали, опустив голову, созвездие Сохатого пило чувинскую воду, а над Камой распахла вечную тьму Звездная Ворга. Пам подошел к низкой ограде двора и остановился, подперев посохом грудь. Легкий камский ветер забросил на лицо длинные белые волосы шамана, оплел запястья пряжами бороды.

Вышкар спал, только у ворот тлел костер караульных да на кузнечном дворе в щелях домничной землянки то вспыхивал, то гас багровый отсвет и вздыхали мехи. Воины хакана тоже спали в отведенных им гостевых керку. Дом, где поместили князя и троих княжат, находился рядом с загоном. Пам увидел, как, задумчиво поправив полог на проеме входа, высокий человек направился к изгороди. «Нята, Нята!» – шепотом позвал он. Разбуженные кони глухо переступали копытами. Между жердей высунулась голова Няты, и Асыка протянул коню на ладони угощение.

Напрямик, сквозь лопухи и мерцающие во тьме заросли крапивы, мимо пустых домов и собачьих шалашей князь зашагал на пригорок, ко двору пама. Шаман в лунном свете молча разглядывал лицо хакана – узкое, скуластое, как маска, безжизненное, резко очерченное линией сивых волос, натуго стянутых в две косы.

– Входи, – сказал пам остановившемуся у калитки князю.

Пам знал, что про него говорят, будто он видит людей насквозь. Это было правдой. Пам видел души человека – две, три, пять, у кого сколько есть. Душа-ворон живет с предками. Душа-филин с духами. Душа-сокол с богами. Душа-лебедь – там, выше богов, где движутся судьбы. А последняя душа, живущая с людьми, у всех разная – у кого утка, у кого воробей, у кого ястреб. В хакане Асыке пам не увидел ни одной души. Он был глух и целен, как камень.

Хакан остановился на пороге и провел пальцем по фигурным пластинам замка на двери, а затем, прищурившись, оглядел жилище пама. Старый шаманский керку был сложен из огромных, уже замшелых бревен с врезанными в них тамгами. Под самыми стропилами в узком волоковом окне синели звезды. Пам заменил догоравшую лучину в горшке. Огонек осветил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились причудливые косматые тени от пучков трав, висевших на стропилах. Стол был завален кусочками кожи, обрезками кости, черепками. На чувале, в котором догорали угли, громоздился древний, позеленевший котел со шербастиной на краю и обломанным ухом. На деревянном гвозде висела траченная молью одежда шамана, расшитая амулетами и бахромой. В изголовье низкого лежака под шкурой, служившей покрывалом, желтел медвежий череп. Покосившиеся полки были заставлены драгоценными болгарскими, персидскими, арабскими блюдами, туесками и горшочками с зельями. Один угол керку занимала груда коробов, в другом друг на друга были навалены резные чурки-иттармы, в которых жили души бывших шаманов Мертвой Пармы, предшественников пама. В земляной пол

были втоптаны угли, обрезки кожи и отщепы костей, перья птиц, уже ответившие на вопросы пама и больше не нужные. Над входом топырились огромные лосиные рога.

– Чего тебе надо, хакан? – спросил пам, деревянной кочергой шевеля головни в чувале.

– Я хочу увидеть Канскую Тамгу.

– У меня ее нет. Она там, где и должна быть, – на иттарме последнего кана.

– Проводи меня туда, старик.

– Ты увидишь ее завтра, во время жертвоприношения.

Хакан помолчал, наблюдая, как шаман бронзовой ложкой на длинном черенке вылавливает из котла угольки.

– Я хочу увидеть ее сейчас. Проводи меня. Я тебя прошу.

Пам подумал и опустил ложку в котел.

Они медленно шагали по Священной дороге. Трещали кузнечики, во рву у Вышкара пели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Неприкаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только Мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины. Однако для пама она не была горой мрака и безмолвия. Для старого шамана она была словно бы мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что, как тучи, плывут над памом и князем, над Мертвой Пармой, над народами, богами и звездами.

– Скажи мне, хакан, ведь посвящение молодых князей – это только повод привезти Вагирью туда, где находится Канская Тамга, так?

– Так, – согласился Асыка. – Я хочу получить Канскую Тамгу.

– Но ведь с тобой нет ни хакана, ни хонтуев от Югры. И наш князь в Йемдыне служит русам за пьяную воду, как собака за кость. И о намерении твоём не знают другие народы Саран-пала и Мансипала. И те, кто считает себя нашими хозяевами, не давали на это своего разрешения. И даже твой собственный народ не знает, зачем ты поехал к Мертвой Парме...

– У меня нет хозяев, чтобы я выпрашивал позволения, – жестко ответил Асыка. – А мой народ и другие народы пойдут за мной, когда у меня будет Тамга.

– Откуда ты знаешь? Ты умеешь читать будущее?

– Я знаю, пам. Для этого знания мне не нужно гадать по перьям, не нужно следить за полетом священных птиц, не нужно выпускать кишки жертвенным козам. Я знаю, пам. И поэтому я хочу, чтобы ты отдал мне Канскую Тамгу без сомнений.

«Хумляльт», – понял пам. Князь Асыка – хумляльт. Человек, идущий навстречу. Человек призванный, человек одержимый. Князь Асыка, убивший отца, живущий без старости, изгнавший жену-ламию, – хумляльт. Он не вершит судьбами народов и земли, ибо судьбы эти вершатся сами собой по законам, которым подчиняются даже боги. Но если судьбу народа уподобить обвалу, камнепаду, то князь будет в нем самым большим камнем, что катится впереди всех, расшибает преграды и торит путь, по которому вслед за ним несутся прочие валуны. Не зря пам увидел князя глухим, как скала. У хумляльта нет ни одной души.

– Канская Тамга дается только общим решением людей наших гор...

– Неправда. Ты сам это знаешь, старик. Кан Кудым получил ее от своего увтыра. Кан Реда получил Тамгу от тех, кто потом, изгнав соплеменников, назвал себя «вису». Кан Атыла взял ее себе сам. Еще нужно вспоминать, старик?

Шаман долго молчал, сокрушенно качая головой.

– Но тебе не удержать ее, хакан, – наконец сказал он.

– Почему?

– Я помню историю про сына хакана Кероса. Он ведь поменял свою тамгу русскому мальчику на серебряный крест...

Асыка недобро усмехнулся.

– А когда Керос хотел за это лишить сына родства, сын убил отца и в двенадцать лет сам стал хаканом, завладев его тамгой, – закончил историю князь. – Но это было давно, старик. Я думал, что у тех событий на Мамыльском пороге осталось только три свидетеля – я сам, русич Калын и моя жена Айчейль, ламия...

– Свидетелем тому был не я, а мой брат. Он уже состарился и умер, хотя был младше меня. Смотри, хакан, какой я дряхлый – ноги меня не слушаются, глаза слепнут, волосы поседели... А ведь я тебя моложе. Почему же ты не стареешь? Ты и вправду бессмертен, хакан, как все хумляльты и ламии?

– Ты ведь лучше меня знаешь порядок вещей в мире, старик. Бессмертен любой, кто не доделал своего дела.

Глава 3

Канская тамга

Два высоких идола – богатыри Играмшор и Шавельшор – держали тяжелую балку ворот, ведущих в пределы Мертвой Пармы. За воротами стеной стоял погибший лес. Наверное, такие же леса растут на проклятых островах Пети-Ур в ледяном полуночном океане, по которым в вечной тьме, стеной, скитаются души предателей. Пам чувствовал, что в этих высохших и окаменевших стволах нет ничего и никого – ни духов, ни кулей, ни демонов. Разве что злая мансийская ведьма Таньварпеква заглядывала сюда, но сразу же мчалась дальше на своем седом волке-людоеде Рохе. «„Холатур” – так манси называют Мертвую Парму», – вспомнил шаман.

– Зачем тебе Канская Тамга, князь? – спросил он, первым шагая по чернеющей во мху тропинке.

– Настало время войны.

– Ты хочешь изгнать русов? Чем они тебе мешают?

– Ты и сам знаешь ответ, старик.

Шаман концом посоха сдвинул с пути белую ветку с семью скрюченными пальцами.

– Рус русу рознь, – сказал он. – Новгородцы – да, это волки, рвущие живое мясо. Но московиты идут к нам с миром. Они строят здесь свои селения, растят своих детей и, как мы, терпят притеснения от своего кана. Но ведь русский кан не жаден. Казани мы платим харадж в три танги с лука, а ясак русов вчетверо меньше – всего два соболя. Даже самый захудалый охотник сможет за год добыть двух соболей, чтобы откупиться от кана русов.

– Почему на своей земле мы должны откупаться от чужеземцев?

– Лучше откупиться соболями, чем кровью.

Тонкие и высокие ели с редкими сучьями и голыми вершинами торчали по склону густо, как копыта хонта, воткнутые в погребальный курган его хонтуя. В неровной россыпи звезд над Мертвой Пармой зияли дыры, словно некоторые звезды сорвались и упали вниз, будто спелые кедровые шишки. Если Поясовые горы – и вправду великан Кам, уснувший после своего подвига, то Мертвая Парма – это его колчан. Весенние ливни и осенние бури ломали умершие деревья, но те не падали, а зацеплялись за собратьев и так и висели в высоте.

Это остановившееся движение еще больше омертвляло и без того страшный лес. Кое-где среди стволов торчали вертикально вкопанные лестницы, чтобы боги могли спуститься по ним на землю к людям. Но паму казалось, что эти лестницы выдвинули из недр подземные человечки-сиртя: видно, жить в оцепеневшей горе им стало так жутко, что они бежали из глубин на небо.

Пам свернул на боковую тропинку в обход горы, где росла священная ель – единственное живое дерево на Мертвой Парме.

– Русы-новгородцы – давние наши враги, – сказал Асыка. – А давние враги – это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны были наши богатства. За эти богатства они честно платили кровью и уходили. Но московитам, кроме наших сокровищ, нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кровью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно, потому что земля наша каменная, и их корни обовьются вокруг камней.

– Что ж, – возразил пам, – если они так хотят, то пусть платят кровью, пускают корни и живут. Наши предки поступали так же.

– Нет, ты меня не понимаешь, старик, – с досадой сказал князь. – Можно мириться с набегами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят к нам свои мечи, а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами человеку никогда не

справиться. Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти – ничего.

Шаман глубоко задумался. Еловые остроги постепенно сменялись остовами берез, кедров, сосен, лиственниц – тропа выводила к древней части святилища на том склоне, под которым затонуло в болоте брошенное городище. Появились прогалины, на которых лежали полуистлевшие идолы легендарного народа Велмот-Вор, ушедшего с земли больше тысячи лет назад. Этот народ поклонялся богам хаканов и хонтуев – страшным звероподобным чудищам с почерневшими от жертвенной крови клювами, рылами, когтями, пастями.

– Почему ты считаешь, что бог московитов погубит наши народы? – с трудом перешагивая через идола, спросил пам.

– Ты лучше разбираешься в делах богов... Скажи мне сам: какие они, боги?

– Боги?... – Останавливаясь передохнуть, пам взглянул на огромную голую луну, на Звездную Воргу, распахавшую небо. – Мне трудно ответить так, чтобы тебе, воину, это стало понятно... Для каждого нашего народа есть священные уста, с которых к нам долетают слова вечности. Мертвая Парма у нас, у пермов. Пуррамонитур у зырян. Ялпынг у вас, у манси. Лонготьюган у хантов. Хэбидя-Пэдара у ненцев... Для всех нас священна Солнечная Дева – Заринь, Мядпухоця, Вут-Ими, Егибоба, а по-вашему Сорни-Най. Ее устами говорит Вагирй-ома. Но, ожидая ответа из этих уст, мы спрашиваем не гору, не предка, не бога, не идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое одновременно и гора, и предок, и бог, и идол... Все, что есть, – это одно и то же, все это – одна цепь, а мы видим только ее звенья. Связь между звеньями этой цепи ваши шаманы называют «ляххал» – «весть». Судьба – это весть земли, боги – вести судьбы, люди – вести богов, земля – весть людей... Ты спрашиваешь меня так, словно возможно дать окончательный, последний ответ или, наоборот, словно бы есть первая, начальная точка, от которой мы могли бы верно отмерять правду в нашей жизни...

– Не очень ясно, хотя я понимаю тебя, старик, – кивнул хакан. – Но если ты сравниваешь мир с цепью, скованной в кольцо, то я скажу вот что. Заменив своего бога на чужого, мы разрываем эту цепь, и мир рушится.

Они подошли к высокому идолу Торума. Прародитель был изображен сидящим, а на его коленях покоилась чаша с монетами, перемешанными с землей. Хакан отцепил с налобного кольца дирхем и тоже бросил его в чашу. По обеим сторонам Торума сурово возвышались покосившиеся от времени балбаны сульдэ с сучьями-крыльями и лосиными рогами. У их ног, до дыр проклеванные грачами, белели черепа медведей. Пам, кряхтя, наклонился и поправил священную выкладку. Пусть дух Великого медведя Оша не оскорбляется небрежением к головам его детей.

– Почему мир должен разрушиться, если здесь поселится русский бог, пусть даже он и вытеснит наших богов? – спросил пам, печально глядя на растрескавшийся лик Торума. – Хакан, ты не суеверный охотник, который видит лишь вёрс, вуншерих и вакулей. Ты знаешь: пусть сменится облик, имя, обряд, – дух останется прежним. Ничего с миром не случится. Уж не вообразил ли ты себя Мяндашем, спасающим Солнце от Йомы?

Они снова зашагали по тропинке, которая должна была привести к кладбищу канов. За спиной Торума тихо позванивала на ветру целая роща мертвых берез, увешанных бронзовыми и медными фигурками, обвязанных ленточками беременных женщин. Этот звон звучал в темноте окостеневшего леса очень грустно.

– Бог русов – не наш бог, – сказал Асыка. – Наши боги рождены нашей судьбой, нашей землей. А их бог рожден даже не их землей, а самой-самой дальней, где-то на краю мира, где садится солнце и почва от его жара бесплодна, суха и горяча, как жаровня. Что делать этому богу у нас, среди снегов, пармы, холодных ветров?

– Мало ли кто где рожден, – усмехнулся шаман. – Мы с тобой вышли из чрева матери, а Ен из яйца – ну и что?

– Наши боги – это боги судьбы и трех миров. А бог русов – это бог человека, и одного только человека. Для него ничего нет – ни земли, ни народа, ни предков. Я слушал русских шаманов. Их бог – изгой, бродяга, он бросил свою мать.

– А ты убил отца.

Князь зарычал сквозь зубы, но шаман даже не оглянулся. Молча они шагали по тропе дальше. Торчали из земли колья с надетыми черепами. Вырезанные прямо в деревьях балбаны пиялились в звездное небо. Валялись во мху трухлявые иттармы, поваленные ветром древние истуканы. Деревья топорщились черенками жертвенных стрел и рукоятями ножей, с которых свисали веревочки, некогда державшие кошельки с подношениями.

– Среди наших гор люди и боги одинаково идут дорогами судьбы! – громко и яростно сказал Асыка. – Нас ведет воля нашей земли, и нас судят предки! Ни люди, ни боги не могут свернуть со своего пути, помедлить на нем или пойти по нему вспять! Поэтому мы живем в вечности и земля наша нерушима!

– Это верно, но это слова хумляльта, – негромко произнес пам.

– А русы сами выбирают дорогу и идут по ней куда хотят и как хотят! – не слыша пама, продолжал хахан. – Они говорят, что волос с их головы не падает без воли их бога! Но ведь ты, пам, знаешь, что голоса богов не звучат в ушах каждого, иначе и нам, и русам не нужны были бы шаманы вроде тебя. Значит, русы сами объединяют себя и своего бога и всегда несут его в себе таким, каковы они сами! Это не вера, пам, а безверие! Это не воля земли, а желание человека! Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты, – они просто уничтожат всех богов, и будет пустота! Они бренны, и все, что они сотворят, рано или поздно погибнет, и земля их погибнет тоже! Я не хочу, чтобы наша земля стала их землей и погибла вместе с ними! Почему же ты спокоен? Русов надо гнать, пока еще не поздно, надо убить их жен и детей, стереть их города, изжить даже память о них! Ты говоришь: пусть приходят, если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу землю, – это кол Омоля! Вспомни: когда Ен и Омель делили землю, Омель выпросил себе кусочек шириной в один шаг, чтобы хватило только вбить кол. Но из дыры от него вылезли все духи зла, которые и сейчас льют реки крови!

Шаман резко остановился и, выбросив руку, указал князю под гору. Там, внизу, топорщился густой и плотный колок мертвых елей, обнесенный высоким тыном.

– Видишь это, хахан? – спросил пам. – Два века назад на нашей земле насмерть бились люди вису и люди угру, пока великий кан Реда не изгнал угру прочь. Он уже и сам не знал, из-за чего началась эта война, что не поделили на этой огромной земле два маленьких народа. Когда он победил, он плакал от горя! Босой, он прошел от Мертвой Пармы до Хэбидя-Пэдары. Он целый год молчал и молился у Зарини, у Сорни-Най, чье дитя ты привез к нам вчера. А потом он взял войну, положил ее в горшок и горшок оставил в этой роще. И рощу обнесли частоколом, чтобы война оттуда не убежала, и поставили охранителей, и никто с тех пор не входил в эту рощу, а если с дерева за частокол падала хоть ветка, хоть шишка, хоть еловая иголка, то шаманы подбирали их и бросали за колья обратно. Ты же, хахан, просишь Канскую Тамгу, чтобы выпустить войну на волю. Не русы со своим богом, каким бы он ни был, а ты, слепой хумляльт, пробьешь колом Омоля первую дыру, из которой хлынет нескончаемый поток крови!

Старый шаман, задохнувшись, схватился за сердце и словно обвис на своем посохе. Хахан стоял рядом, стискивал в кулаке свою тамгу и упрямо глядел в сторону, на Звездную Воргу.

– Ты слишком стар, пам, – презрительно сказал он. – Твое сердце одряхлело. Ты не мужчина. Ты боишься крови.

– Бессмысленной крови должен бояться даже мужчина, – пробормотал шаман.

Он медленно распрямился и поковылял вниз по тропе. Шаман и князь шли мимо проклятой рощи, мимо жертвенных ям и болванов с золотыми блюдами вместо лиц, мимо огромных клубков из искривленных и переплетенных воедино еловых стволов на могилах шаманов

– древние умели гнуть не только кости, но и целые деревья, свивая их в змеиные узлы. Наконец за изгибом склона блеснула под луной речка, и пам вывел хакана к кладбищу канов. Чамьи – погребальные домики на высоких столбах – обозначали захоронения самых великих вождей Каменных гор. Кое-какие могилы были пусты – не все каны обрели покой на родной земле. Но чамьи хранили их иттармы как залог того, что души канов вернулись в отеческие горы.

– Вот чамья последнего кана Судога, который двести с лишним лет назад разметал монгольские тумены в устье Чусвы, в битве при Чулмандоре, – сказал пам. – Канская Тамга на его иттарме. Ты можешь взять ее, Асыка. Но помни, что я тебе ее не давал.

Хакан молча поднял валявшуюся неподалеку лестницу и приставил ее ко входу в чамью. Поднявшись на несколько ступеней, он откинул кожаный полог и по пояс всунулся в амбарчик. Через несколько мгновений он уже выбрался обратно, бережно держа в руках большую, облаченную в соболью ягу деревянную куклу-иттарму. С шеи иттармы на цепочке свисала позеленевшая от времени, обломанная по краям священная Канская Тамга.

– Может быть, нашим народам судьбою как раз и уготовано покинуть своих богов?.. – почти умоляюще спросил шаман, все еще надеясь остановить хумляльта. – Можно отречься от всего, но ведь это не изменит ход вещей в мире, ибо вещи эти превыше любого человека и целого народа...

– Замолчи, – велел хакан.

Луна над Мертвой Пармой ярко освещала жесткое лицо князя, с иттармой в руках стоявшего над шаманом на лестнице. Князь долго глядел в лицо чурку-Судогу, словно хотел что-то понять.

А потом спокойным и уверенным движением хакан Асыка положил иттарму на порог амбарчика, снял с нее Тамгу и снял тамгу со своей шеи. Держа обе тамги на ладонях, будто взвешивая, какая из них тяжелее, он поднял лицо к небу. Звездная Ворга Каменным Поясом пересекала небосвод. И хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо цепочки древней Канской Тамги.

Глава 4

Станица

Демьян Ухват спал на карауле. Он ушкуйничал уже три десятка лет, и чутье на опасность не подводило его даже во сне.

Русская станица на Гляденовской горе пряталась в проклятой роще, где кан Реда оставил горшок с войной. Калина говорил, что не стоит тревожить здесь лиха, но Ухват плевал на все его страхи. Пермьки сюда не сунутся – вот что главное.

В станице было девять человек: пятеро новгородцев во главе с Ухватом, три ратника из чердынской полусотни Полюда и проводник – неясный человек Васька Калина. Весной епископ Питирим от какого-то своего соглядата прознал, что в конце лета вогулы привезут на Гляден Малую Золотую Бабу и будут при ней короновать – или чего они там делают? – своих княжичей. Золотая Баба – добыча сказочная. Но ратников за ней ни епископ, ни Полюд, ни князь Ермолай послать не могли. Попадется княжья станица в когти вогулам, так ничем потом кашу не расхлебать будет. Ну, а ушкуйники – люди вольные. Коли влипнут, так князь здесь ни при чем. Дескать, я – не я, и лапа не моя. К тому же в лихом промысле новгородцы половчее будут, чем Полюдовы витязи, распухшие от чердынских пельменей. Но чтобы ушкуйники с хабаром мимо князя, епископа и сотника восояси не утекли, владыка и навязал им этих троих Иванов – дядю Ваню, Ванюху Окуня да Ивашку Меньшого. А в проводники – храмодела Калину. Неизвестно, как там Калина церкви ставит, но в дремучем чудском чародействе понимает не хуже шамана, разве что сам не камлает.

После Петрова дня станица вышла из Чердыни, а вчера ночью, спрятав насаду в кустах, прокралась мимо городища к Глядену и спряталась в проклятой роще.

Широко раскинув ноги в татарских ичигах, Ухват ничком лежал среди гнилых сучьев у самого частокола. Солнце перевалило за полдень и пекло его прямо в лысину. Расклеив мутные глаза, Ухват заворочался, вытащил из-за пазухи колпак и нахлобучил на голову. В это время где-то внизу, у ворот на Мертвую Парму, забренькали шаманские бубенцы. Ухват приник глазом к щелке между кольями.

Ему хорошо была видна здоровенная проплешина на склоне Глядена. Здесь стояла толстая, как колокольня, священная ель. Ободранная понизу, расколотая пополам обугленной трещиной, сверху ель все равно еще зеленела редкой хвоей. Вся голая поляна вокруг была изрыта жертвенными ямами, откуда торчали пережженные кости, была утыкана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, сплошь обвешанными разными побрякушками и бусами. На каменных плитах-жертвенниках возле истуканов что-то поблескивало, а на блюда и горшки в ручищах, на коленях и подле ног идолов Ухват хитро шурился, накручивая бороду на палец.

Под звон колокольцев из ворот повалили пермяки. Впереди шли шаманы с бубнами и дарами; потом дюжие воины с косицами вели троих измученных пленников; дальше в одиночку шагал князь, за ним – три княжича; наконец, волосатые, дикого вида люди в красной одежде и в берестяных личинах тащили на носилках маленький шатер. «Идолица – там», – сразу понял Ухват.

Шаманы остановились возле трех новых истуканов, рядом с которыми свежей, сырой землей темнели недавно выкопанные ямы. Ухват изогнулся, чтобы удобнее было разглядывать, чего там пермяки станут вытворять. Шаманы долго завывали, плясали кругами, то почти распластываясь по земле, то подпрыгивая, звенели бубнами, жгли какую-то дрянь на палках. Потом выпустили целую тучу голубей и на четвереньках, с поклонами поползли к истуканам, толкая перед собой по земле блюда и горшки. Воины поставили пленников ногами в ямы, заткнули рты кляпами и привязали к идолам. Те, что были выражены в красные сермяги, бережно сняли с носилок тяжелый шатер и перетаскили в дупло, выжженное молнией в свя-

щенной ели. «Хоть бы полсть-то откинули, собаки, – азартно подумал Ухват. – Посмотреть на Бабу-то... Много ли в ней золота или так, на три наперстка...»

Наконец толпа потянулась обратно. Ухват перевел взгляд на оставленных пленников – старика, парня и девку. «Больно схожи старик с парнем, – подумал он. – Небось отец, сын и невестка. Значит, вогулы где-то по пути починок разорили... На заклатие, чай, людишек приготавливали... Жаль души христианские, ну да ничего не поделать. Коли отвязать их да отпустить, то и самим без хабара нужно уматывать, а днем далеко не уйдешь...»

Сняв колпак, Ухват перекрестился, потом перевернулся на спину и облегченно вытянулся, прикрыв глаза.

Из дремоты его вывели далекие голоса, шаги и звон бубенцов. На дороге, приближаясь, опять бухали бубны. «Идут бесов тешить», – понял Ухват, снова переворачиваясь на брюхо. Сзади хрустнул сучок, и он злобно оглянулся. На шум толпы к частоколу поглазеть ползли и ратники, и свои ватажники.

– Цыц! – шепотом рявкнул Ухват. – Куда поперли, дуrolомы? Башку на вогульский кол посадить охота?

– Дак любопытно, чего брынчит-то, Дема, – вытаращив наивные глаза, прошептал Семка, самый младший из ватаги.

– Зубы твои сейчас забренчат, возгря, – тихо ругнулся Ухват. – Ну-ка пошли все прочь!

Недовольно сопя, станичники отползли обратно. Только двое – давний напарник Ухвата Ероха Смыка и Васька Калина – беззвучно скользнули меж валежника к щелям в частоколе. Ухват покосился на Калину. Тот разглядывал пермяков, гурьбой поднимавшихся по склону, кумирню с пленниками. Обветренная, багровая скула Калины смялась складкой злого оскала. Калина тоже обернулся на Ухвата.

– Давно их тут поставили? – спросил он.

Ухват усмехнулся и кивнул.

– Иуда, – сказал Калина.

– Да уж не Моисей, ивреев из Египта выводить, – хмыкнул Ухват. – Я с хабара по ним в Успенье на Волотовом поле на серебряную ризу дам.

– По себе дай, – отворачиваясь, ответил Калина.

Ухват не ответил, снова припав к щелке между кольев. Пермяков на мольбище собралось человек сто. Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу, а потому походили на зверей, вставших на задние лапы, или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся, а может, и на диких духов своих буреломных лесов и болотных бучил. Выстроившись неровными рядами, пермяки положили руки друг другу на плечи и медленно, вперевалку раскачивались под звон бубнов, тупой гул деревянных барабанов и заунывный вой медного варгана, который держал в зубах шаман, опустившийся на колени и ссутулившийся. Ухват почувствовал, что и в его душе что-то стронулось от этого мерного, общего движения, от ударов и воя. Плечи поневоле повело, и Ухват перекрестился.

Камлание началось. Вертелись, кривлялись, прыгали шаманы, одетые медведями и лосями. Взвились костры, в которые бросали горсти драгоценной соли, взрывающейся синими снопами искр. Воины что-то дружно распевали, вдруг разражаясь дикими криками и вскидывая над головами копья. В дыму костров шестами гоняли очумелых голубей. Многоголосицу пенья словно раздирали на куски пронзительные, скребущие по сердцу вопли многоствольных дудок-чипсанов. В забулькавшие котлы полетели корешки трав и листья, мухоморы и кора. Одурающий дух пополз от кумирни вниз по склону, и Ухват, натянув ворот армяка на усы, чихнул. Воины черпали из котлов глиняными кружками пойло, пили его и разбивали кружки о ноги идолов. Один из шаманов раскидал по земле бронзовые гадательные фигурки и хлестал по ним плетью, глядя, какая перевернется, а какая нет. Другой шаман из брюха огромной белуги,

проткнутой через глаза золотой палочкой, выматывал длинные петли кишок, читая грядущее. Рядом кололи коз, рубили головы птице, рвали мясо, пили свежую кровь, жрали печень. Пьяные, растрепанные, перемазанные кровью, жиром, грязью люди бесновались и падали, потеряв силы. Дым и чад обволокли поляну возле священной ели.

Багряное солнце донышком коснулось синих закамских лесов. Лучи его напрямик понеслись вдоль просеки-дороги от ворот к вершине Глядена и ударили в священную ель. Тотчас целый рой завывающих вогульских стрел со свистульками в остриях взлетел в густо потемневшее небо. Полог, укрывавший Золотую Бабу, словно сам собою пополз вверх. Ухват втиснулся лбом между кольев.

В черном, обугленном дупле тускло засветился золотой истукан. Маленький, грубо и плоско выделанный из болванки зеленоватого золота, он глядел из полумрака горящими кровавыми искрами самоцветных глаз. Бесстрастное круглое лицо, плоские, отвисшие груди, скрюченные ручки, обхватившие выпуклый живот, на котором насечкой был изображен младенец в утробе... Словно бы сама суровая, каменная, непримиримая земля глазами Вагирёмы уставилась на ушкуйника. Ухват зажмурился, кляня себя сквозь зубы, закрыл лицо ладонью, но и в темноте под веками тлели две капли крови.

Ухват вновь придвинулся к щели только тогда, когда страшного истукана убрали в глубину дупла. Теперь в самом большом костре торчал идол. Вогулы с короткими мечами в руках все быстрее и быстрее кружились вокруг костра. И вдруг мечи засверкали один за другим, срубая щепки с идола в костре. Идол на глазах корчился, худел, усыхал и вскоре превратился в кривой обрубок, по которому белками скакало пламя.

А потом толпа вдруг разом переместилась к трем ямам, где, привязанные к истуканам, стояли пленники. Три подростка-княжича шагнули вперед с ножами. Вогульский князь – высокий, бледный, с жестким и властным лицом – поднял над собой за цепочки три медные тамги. Воины закричали. Угоревшие в дыму пленники очнулись, подняли головы, дико переводя взгляды с княжичей на князя. И тогда, размахивая ножами, княжичи завизжали и бросились на них, кто вперед. Взыкнул старик, подавившись кляпом, страшно захрипела баба, затрещали ремни на руках молодого мужика. За свою жизнь Ухват и многое повидал, и многое сотворил, но и он отвернулся, когда в окровавленных ладонях вогульских княжичей, роняя алые капли, задержались живые человеческие сердца.

Пермяки оставались на мольбище еще долго и после наступления темноты. Наконец последние шаманы, подобрав утварь, побрели вниз с горы. Яркая и прозрачная ночь сияла над Гляденом. Далеко за Камой поднялись Стожары. Свежего чекана луна чудским блюдом звенела в небе. В ямах на кумирне дотлевали угли; остывающий белый дымок стлался по земле у подножия истуканов, торчавших лицами к звездам, которые своим мертвенным зеленым светом резче выделили их грубые черты. Верховный шаман, один-одинешенек, остался сидеть у священной ели, опустив голову и время от времени чуть встряхивая серебряный бубен.

– Когда этот уйдет? – спросил Ухват Калину.

– Это ихний пам. Он всю ночь будет сидеть, богов слушать, – пояснил Калина. – Он нам не помешает. Сейчас он ничего не видит и не слышит. Его только солнце в разумение вернет. Пока он здесь, сюда никто не сунется.

Ухват недоверчиво хмыкнул и бесшумно поднялся. Ударом ноги он повалил пару кольев перед собой и, перешагивая их, пробормотал:

– Посмотрим...

В одиночку, не таясь, он поднимался по освещенному луной склону горы к старику. Пам не оборачивался, сгорбившись и держа обеими руками бубен. Из дупла напротив него светили два болотных огня. Ухват откинул полу армяка, нашаривая что-то на поясе.

– Стой! – крикнул Калина, перепрыгивая частокол.

Ухват, зажав старику рот ладонью, ловко вогнал нож под лопатку и, надавив на черенок, дослал до рукояти. Отдернув руку, он легко подтолкнул шамана вперед, и тот повалился лицом вниз. Калина, подойдя, молча смотрел на него.

– Теперь со своими богами вволю наговорится, – сказал Ухват.

– Зверюга ты, а не человек, – ответил Калина, поглядев ушкуйнику в глаза.

Ухват медленно вытер нож о рубаху на груди Калины, сунул его за голенище ичига и сухо произнес:

– Ты нас вел, свое дело делал, я тебя не учил. И ты меня мое дело делать не учи.

Он нагнулся и вынул из рук шамана серебряный бубен. По склону Глядена уже торопливо поднимались станичники. Впереди всех, работая локтями и зевая, бежал Семка. Ухват скинул на землю армяк, чувствуя, как плечи и грудь упруго наливаются силой.

Чердынские ратники поначалу растерялись, увидев, каким вдруг сноровистым и властным, уверенным в себе стал Ухват. Ушкуйники деловито рассыпались по мольбищу, быстро и умело набивая мешки хабаром.

– Эй, служивые, просейте-ка землю, – издали негромко велел ратникам Ухват, кивнув на блюда и чаши, что стояли на коленях и возле ног многих идолов. В посуде была насыпана земля вперемешку с монетами.

Ушкуйники выколупывали из древесины драгоценные тамги, собирали посуду, срезали с ветвей серебряные и золотые амулеты, раскидывали золу и угли в очагах на кумирнях. Дюжий Ероха Смыка, кряхтя, переворачивал жертвенные камни, а Семка ловко wygrебал из-под них все, что схоронили там шаманы. Взобравшись на бычий загривок Гаврилы Михайлова, юркий Пишка, беглый монах-расстрига из Устюжского Троицкого монастыря, сдирал с болванов персидские блюда, приколотенные вместо лиц. Ратники, вытряхивая содержимое чаш на кафтаны, выбирали деньги и ссыпали их в кошели. Только Калина сидел на валуне и ни в чем не принимал участия.

– Слышь, храмодел, – окликнул его Ухват. – Ты говорил, будто ихний бог-олень земли касаться не может, так ему под копыта серебряные тарелки кладут... Где они?

– Там, – мотнул головой Калина.

– Семка, проверь, – распорядился Ухват и пошагал к священной ели.

Уже без всякого трепета он сунул руки в дупло и выволок Золотую Бабу. С трудом тряхнув ею, он сказал:

– С пуд-то будет... А может, и поболее. Я думал, она цельная, а она полая... Везде начет. – Он усмехнулся, оборачиваясь к Калине. – У нас в прошлом году Федор Стратилат сторел, так поп взял образ Симеона Столпника себе: говорит, оклад поправлю, жаром оплавило. Поправил, черт брюхатый, красивше прежнего вернул. Только брал-то литой, а вернул чеканный. Чего уж тут с нехристей спрашивать?

Калина не ответил. Ухват вытащил из дупла шатер для истукана и встряхнул его, расправляя.

– Перлы, никак? Берем. Отпорем, как бог даст час.

Он завернул Бабу в шатер, выбросив изогнутые кости каркаса, и первым двинулся прочь с мольбища.

– Шабаш, станичники! – крикнул он. – Хабар в зубы и уходим!

Станица ссыпалась с Глядена к берегу речонки. По реке Ухват и хотел добраться до насады, спрятанной на Каме. Через парму к насаде не пройти – долго, да еще ночь, да буревалы, да болота. И по дороге мимо шаманского городища не проскользнуть – собаки учуют. Проплыть речкой было единственным способом исчезнуть отсюда. Слава богу, пермякам и в голову не пришло перегородить речонку запрудой. «Дремучие людишки, на кукиш молятся, от жабы совета ждут, – ухмылялся про себя Ухват. – Ворота на засове, а забор псы подмыли...»

Ушкуйники и ратники ремennыми арканами начали выворачивать из земли идолов, целой рощей столпившихся на берегу. Калина молча стоял в стороне.

– Что, и кушака на аркан уж пожалеешь? – насмешливо спросил его Гаврила Михайлов и плечом налег на ближайшего болвана.

Земля затрещала. Калина глянул в лицо идола, медленно переводившего тяжелый, пугающий взгляд со звезд на него, на человека.

– Берегись! – рявкнул ушкуйник, и Калина отскочил. Идол рухнул на то место, где он только что стоял. Мимо глаз Калины пролетели, падая, черные, дикие глаза истукана.

– Забирай, – распорядился Гаврила, ногой катнув бревно Калине.

Из трех болванов Ухват связал салик и приторочил на него мешки с хабаром. Ухват должен был плыть первым, а за ним – хабар. Калина и Семка замыкали.

– Готовы? – стоя по колено в воде, спросил Ухват. – С богом!

Он толкнул плот и свою чурку на середину реки, забрел по пояс и лег в воду.

Калина замешкался. Когда на берегу остался только Семка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую тамгу на гайтане – такую же, как у князя Асыки, но поменьше. Наклонившись, он оттиснул ее на песке у воды.

– Ты чего это? – подозрительно спросил Семка.

– Это мой привет вогулам, – ответил Калина, убирая тамгу и спихивая балбана на глубину.

Семка посмотрел на отпечаток, но стереть побоялся, только плюнул в него и заторопился вслед за Калиной.

Без плеска и без шепота станичники один за другим плыли по узкой и вертлявой речке. После впадения Юрчима она стала поглубже, и теперь ноги уже не касались дна. Ветви деревьев то закрывали, то оголяли небо, и тьма вокруг то густела, то становилась реже, сквозистее. По одной, по две вдруг просверкивали звезды. Калина плыл, обняв своего идола за шею, касаясь щекой его неструганой щеки. Казалось, он что-то шепчет истукану на ухо. Но истукан не отвечал, лежа в воде лицом вверх, как покойник в гробу. Только лунные отсветы ползли по его лику, будто ему снились древние, неизъяснимые, вещие чудские сны.

По левую руку, растопорщив частоколы, вдали гусеницей прополз шаманский город, не унюхавший грабителей. А потом Чулман, дохнув свежестью, медленно всосал в себя речку. Прямо над устьем в небе льдисто пылала луна, а за ней сиял весь иконостас мироздания.

Станичники бросали идолов и гребли к берегу. Ухват уже брел по мелководью, в одиночку волоча за ремень плот с хабаром. Калина тоже соскользнул с болвана и поплыл за остальными, беззвучно раздвигая руками темную воду.

Брошенные идолы уплывали вниз по реке куда-то в неизведанную даль, но еще долго черными лучинками они виднелись в широком свечении камского плеса. Узкая и легкая насада с заломленной покуда мачтой, качаясь, выползла кормой вперед из прибрежных кустов. На мгновение остановившись, она, как крылья, расправила весла, взмахнула ими и пошла против течения, все быстрее, быстрее, и вот уже лебедем понеслась туда, где над великой рекой вечной свечкой, как душа, горела северная звезда.

Глава 5

Балбанкар

Второй месяц, изнывая от скуки, станичники жили на Балбанкаре – заброшенном болванском городище. Калина говорил, что здесь им безопаснее всего, потому что пермяки сюда не заходят. Двести лет назад пермская чудь в битве при Чулмандоре разбила нахлынувших монголов. Но через двадцать лет после этого на Каму пришел непобедимый хан Беркай и покал пермяков, а их священный город Балбанкар – вроде Вышкара под Гляденем – предал мечу и поруганию. С тех пор Балбанкар – «плохое место», куда никто не заглянет.

Балбанкар лежал на вершине высокой прибрежной горы правой стороны Камы. Чело горы, обращенное к реке, было обрывистым и неприступным. Восточный и западный склоны круто падали в лога. На пологом северном скате виднелись друг за другом три заросших вала. Они уже расплзлись, как тесто по столешнице, и от частоколов не осталось следа. Шаманы здесь заняли какое-то совсем уж непробудно-древнее городище и, устраивая кумирни, расчистили площадку, обновили диковинные выкладки из огромных бревен и въевшихся в землю валунов, обложили камнями жертвенные ямы, натыкали истуканов, отстроили дома-землянки, выгородив их заплотами из могучих заостренных плах. А теперь, через два века после Беркай, дома порушились, сгнили бревенчатые стрелы, что указывали на звезды, валуны заросли мхом, ямы осыпались, идолы перекошились.

Стояла поздняя и холодная осень. С холма Балбанкара было видно, как хмурый ветер катит волны по синим окрестным лесам, ерошит дальние пармы, треплет последние бурые космы травы под провалившимися кровлями и на полуденных склонах древних насыпей. Земля лежала изнуренная, словно бы все хотела уснуть, а сон не шел.

Голый по пояс, грязный и обросший, Ухват сидел у костра, калил на угольях нож и выжигал вшей на рубахе. Душу его что-то тревожило, а что – он не знал. Вроде все идет по сметке, без сбоев. Никто, кроме истуканов на заброшенных городищах, не заметил, как станица пробралась от Чердыни к Глядену. На Глядене топтались в татарских ичигах. Только вывели спрятанную насаду – сразу же из курьи правого берега спустили вниз по реке заранее приготовленную татарскую шибасу, которую посекали мечами и перевернули вверх дном. Ухват сам всунул между досок шибасы две медные бляхи, подобранные на Глядене. Хватятся вогулы своих сокровищ – а вот им и следы татарских сапог. Дунут вниз по реке в погоню – а вот и шибаса плывет кверху брюхом, а на ней побрякушки с Глядена. Значит, Золотую Бабу унесла татарва да тут же передралась, друг друга порубила, лодку перевернула и утопла. Ни воров, ни краденного. А уж коли вогулы все равно не поверят и кинутся к русским городам, так им в любом пермяцком горте, что по пути встретится, скажут: нет, никто не проплывал. Да и кто проплывет? Станица-то в трех днях пути от Глядена на Балбанкаре прячется! Только теперь это уже не станица, а купецкая ватага. Плыли честные торговые люди из Жукотина, налетели на топляк, струг свой угробили со всем наваром, сами едва живота не лишились. Вот, торчат тут, кукуют, ждут ледостава, потому что по берегу домой пешком не дойдешь: далеко, да грязь осенняя, да паводок на притоках, а новый струг ладить смысла нет – зима не за горами. И где-нибудь на Варвару-мученицу встанут они на лыжи, добегут по льду до ближайшей деревни, купят там нарты с упряжками – и в Чердынь. Там владыка Питирим пособит до Вычегды добраться, а в Усть-Вyme князь Ермолай пошлет дальше – в Устюг, в Новгород. Все ладно, все ловко, но почему же такая тревога на душе? Почему же мнится, что кто-то следит за ними незрячим глазом? Почему же чудится, что стоит за спиной неминуемая лихая беда?

Ухват вспоминал давний разговор с Калиной и злился. Накаркает храмодел, потому как, видно, задарма душу лукавому отдал и еще на чужие зарится... В день того разговора и погода была похожая: так же кипели над Камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну, которая

глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел изгиб реки, как бывалая кольчуга на локте.

– Зря мы Бабу уволокли, – говорил Калина. – Не надо было трогать ее. А коли тронули – то нужно сразу в омут. Зачарует она нас, оморочит. Навяжет свою волю и сгубит.

– Креститься надо от бесьего наваждения, – пояснил Пишка.

– Не спасет. Это ведь не сатанинские дела, а вообще безбожные. Здесь, мужики, самый край божьего мира, а дальше – одни демоны творенья, которым ни наша, ни божья воля не указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние – югорские, пелымские, пермские, – те тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские, каменные.

– Так охристианить их, гнать нечистого, – все пояснял Пишка.

– Они Христа не боятся, в них ведь не черти сидят, – усмехнулся Калина. – Их ведь и Стефан семьдесят лет назад крестил, потом Исаакий и Герасим радели, теперь в Чердыни Питирим крестит, а они все равно Николе Можая, как идолу, губы кровью мажут... Сколько я сам церкв поднял, а все не то... Крестом их не взять. Тут сам бог остановился...

– Не доделал, что ль? – спросил вислоусый Иван Большой. – Ты, Калина, никак против святой седмицы толкуешь?

– Седмица... Господь всю вечность сотворил, а мы ее только на неделю и поняли, да и то последний день – отдых... А там, за горами, – то, что у бога дальше было, нам не понять. Тут мы без бога остаемся, лицом к лицу с вечностью...

– Ты доходчивей толкуй, – попросил Ивашка Меньшой, – а то как наш пьяный пономарь: «Покайтесь! Покайтесь!» – а в чем? Сам не знает.

– Как тут объяснить доходчиво, коли и самому все будто в сумерках?... Ну, это словно здесь мы – как в пещере со свечкой, и свечка – вера наша. А пещера огромная, неизвестная, с чудищами. И вот нам надо либо на месте стоять, чтобы свечку не загасить, либо впотьмах путь, впереди лежащий, руками ощупывать.

– Свечку-то свою, я гляжу, ты уж давненько притушил, – недобро сказал Ухват. – Не со святых книг мудрость твоя, храмодел, а болванами нашептанная да в дыму кумирен примерещившаяся...

– Ты, Хват, мою веру не трожь, – спокойно ответил Калина. – В вере я покрепче твоего. Вот только здесь одной-то ее мало, но и господь нам пределов в вере не ставил. Так что коли я от здешней нежити свои молитвы слагаю и обряды вершу – так на то его благоволение. Когда в бурю вокруг меня Маньпупынёры пели или когда на Янгалмах я от Мертвой Шаманки прятался – не «Отче наш» помог мне, прости, господи! На каждого врага, Хват, – свой меч. Каждому диву – свое разуменье. Я свою веру нерушимой пронес и сквозь прельстительные речи шаманов, и через камлания, и против злой воли Золотой Бабы, и по судьбе своей, и в любви ламии, что пылает, как пожар, только застужает до смерти. Посмотрю я на тебя: каким ты отсюда вернешься?

Ратники слушали Калину со вниманием: им тут жить. Ушкуйники посмеивались – они здесь люди пришлые, временные. Один только Семка глаза вытаращил и рот раззявил – ну да этот дурак всему поверит, ничего не запомнит.

– Не замай, – глухо ответил Ухват Калине.

Саднящим пчелиным укусом горел в душе Ухвата этот разговор. Под хабар ушкуйники отвели маленький погребец рядом с большой, наполовину обвалившейся землянкой. В скуке и безделье, раздумывая над словами Калины, Ухват повадился таскаться в этот погребец. Усаживался на бочонок, где лежало чудское золото, зажигал лучину, всматривался в плоское и безмятежное лицо истукана и не находил в нем ни угрозы, ни знамения. Он насмешливо щелкал Бабу в лоб ногтем и говорил: «Ну, чего выпучилась? Накося, выкуси! Вот притараню тебя

домой, под молот суну, тогда и пьйся, коли сможешь. И станешь ты просто куском золота, и начеканят из тебя гривн, а с ними я всю жисть шуча справлялся. Что на долги пушу, что на снаряд, а остатка хватит всей слободой до весны гулять. Болванка – ты и есть болванка, хоть и с глазами...»

Ухват был доволен своей смелостью. Никакое чудское проклятие его не пугало. Но однажды, когда он вел с Бабой такие речи, его словно обухом по темени хватануло. Так ведь вот оно, оморочье пермское! Вот ведь он сам – сидит тайком от всех, говорит с болванкой, как с живым человеком или с церковным образом, мечты свои ей поверяет, будто одобрения просит... А ведь по уговору-то Баба остается владыке и князю, а не ему и не ватаге! Швырнув идола с поставца на пол, Ухват вылетел из погребка. Два дня таращился на Каму, крестился. А потом словно пелена с глаз упала, и увидел он, что ведь каждый из станицы, кроме разве Калины, от безделья ходит глядеть на болванку. Тогда Ухват велел завалить дверь погребка землей.

Никто Ухвату не возразил, но как засыпали погреб – началась в станице такая тоска, точно мужиков от церкви отлучили. Семка целыми днями валялся и в небо смотрел. Пишка словно тронулся, все стал своему монастырю умиляться, будто это и не он, плюясь, сбежал оттуда пять лет назад. Ероха Смыка только и делал, что из лука бил по лицам истуканов, выдирал стрелы и снова бил. Гаврила какие-то корешки и корье собирал, хотел брагу варить, трижды травился до синевы и пены изо рта. Даже служивые приуныли и пропадали от зари до зари кто на охоте, кто на рыбалке.

В ту ночь Ухват сторожил, дремал у костерка. Начался мелкий дождик, Ухват промок, замерз, проснулся и полез в землянку за кошмой. Он выволок ее из-под Семки и уже откинул пол, чтобы выбраться обратно, как вдруг до него дошло, что Калины в землянке нет. Мало ли зачем Калина мог уйти, но почему он уполз тайно, через дальний пролом? И Ухват сразу заподозрил неладное. Он пощупал валявшийся армяк Калины – уже простыл. Давние подозрения опалили душу ушкуйника.

Прямо по спинам товарищей Ухват ломанулся в обрушенный конец землянки, занавешенный от дождя и ветра парусом. Отбросив парус, он пополз по слякоти под упавшими бревнами кровли, ударился головой, сбил шапку и неожиданно провалился руками в сырую, холодную яму. Быстро ощутив края, Ухват понял, что это узкий сруб колодца подземного хода.

«Все! – понял он, разворачиваясь и спуская в сруб ноги. – Вот теперь храмодел себя выдал!» Он соскользнул в сруб, пролетел вниз и упал на дно лаза. Стены его были из тонких кольев, свод – из плах. Из щелей свисали корни и капала вода. Ухват ловко пополз вперед, переваливаясь с боку на бок, чую могильный запах земли, гниющего дерева и остывшего дымка лучины.

Он прополз сажень десять и вдруг лысиной ощутил холод над головой. Подняв руки, Ухват нащупал другой колодец. Корячаясь, путаясь ногами в армяке, он поднялся в колодце во весь рост и понял, что теперь торчит по плечи из днища погребка. Он рывком вывалился в погреб и зашарил руками по стенкам и поставцам. Бочонки и кошель с хабаром были на месте. Золотая Баба исчезла.

Ухват рухнул обратно в лаз и стремительно пополз вперед, во тьму тайника. «Все рассчитал, собака, – лихорадочно думал он. – Сам нас на Балбанкар привел, сам страстей наплел, чтобы мы погребец засыпали... А потом бы сказал нам, что ушла болванка в землю, что ее Чудь Белоглазая прибрала, да еще бы посмеялся над нами, когда бы мы поверили! А весной бы вернулся сюда и выкопал ее... Тайник-то не иначе как шаманы отрыли, а он его нашел и придумал, как приспособить... Хитер божий человек!»

Дождь обрызгал руки и голову Ухвата. Задышавшись, ушкуйник выполз на дно оврага под горой, на которой стоял Балбанкар. Царапаясь о голые кусты малины, Ухват ринулся к ручью и рухнул на колени, выискивая следы в прибрежной грязи. Ага, вот они! Вверх храмодел побег, к болотам! Ничего, с таким грузом далеко не уйдет.

Плеща чунями по скользкому ручью, Ухват побежал за Калиной, на ходу доставая нож. Он нагнал храмодела, когда тот полез на склон. Калина шатался, прижимая к груди, как младенца, болванку, закутанную в обрывки шатра. Рубаха его выпукло светлела на темном фоне кручи.

– Стой! – хрипло крикнул Ухват.

Калина оглянулся, и Ухват метнул нож. Удар в грудь посадил Калину на землю. Потом Калина выронил болванку и повалился. Болванка, разматываясь из обрывков, подскакивая, покатила по склону к Ухвату. Ухват присел, растопырив руки, чтобы поймать ее, и лишь в последний миг отпрыгнул в сторону. Тяжеленная, как бревно, болванка врезалась ему в бок и отшибла, словно цепом.

Ухват, лежа по пояс в ручье, повернулся набок и разбойниче свистнул. Свист сбился на хрип от боли в проломленных ребрах. Золотая Баба валялась на дне рядом с ушкуйником. Сквозь мутную воду просвечивало ее безмятежное лицо.

Станичники прибежали не скоро. Цепляясь за кусты, Ухват уже выполз и сумел подняться, хотя и стоял согнувшись. Ватажники и ратники ссыпались к нему с обрыва ошалевшие, расхристанные, с мечами, ножами, луками наизготовку. Иван Большой первым увидел Калину, лежащего на склоне за кустами тальника, и дернулся к нему.

– Готов он, – проскрипел Ухват. – Не трогай пададь.

– Это кто ж его?... – останавливаясь, изумился Иван.

– Я, кто ж еще? Он болванку через подземный лаз уволок. – Ухват кивнул на ручей, куда скатилась Золотая Баба. – Хотел спрятать для себя... А я его нагнал. Вот так.

Тяжело дыша, и ратники, и ушкуйники молчали.

– Не может быть, – наконец сказал Иван Большой. – Я Калину пять лет знаю. Калина не вор.

– Ну да, святой, хоть образа пиши, – ответил Ухват, прижимая ладонью бок.

Иван Большой вдруг цапнул Ухвата за бороду и дернул к себе, отводя в сторону меч.

– Сам ты вор, ушкуйник! – хрипло рявкнул он. – Видел я, что невзлюбил ты Калину! Это ты болванку понес, а его порешил как свидетеля! Это ваши разбойные дела! Не вор Калина!

– Может, он ее потопить хотел? – испуганно спросил Ивашка Меньшой. – Он ить говорил, что бесы в ей чудские.

Ухват внезапно ударил Ивана Большого в лицо. Вслед за ним, не удержавшись на ногах, ушкуйник тоже полетел в кусты. Ратник вскочил первым, замахиваясь над Ухватом мечом.

– Ты ее украл, тать, чтобы она не князю, а тебе досталась! Ты и погреб велел засыпать, ты и лаз нашел! Грех свой на Калину перевесить решил, да?

Иван Большой, открыв рот, уставился на свое правое плечо. Руки его ниже локтя уже не было. Пишка сзади снова махнул мечом, и голова стрельца плюхнулась в ручей, а обезглавленное тело, ломаясь, повалилось на Ухвата.

– Кончай их всех! – крикнул Ухват, откатываясь в сторону.

Ероха вскинул лук, единым движением натянул и сронил с пальца тетиву. Ванька Окунь вцепился в стрелу, что выросла у него из глаза, и с треском упал в тальник. Ивашка Меньшой тонко завизжал, повернулся и сиганул в гору, прыгая, как заяц.

– Этого туда же! – рыкнул Ухват. – Теперь хабаром ни с кем делиться не придется...

Ероха другой стрелой подбил Ивашку, и тот, захлебнувшись воплем, махая руками, покатила по склону обратно к ручью.

Ухват поднялся, цепляясь за Гаврилу, как за дерево, и сплюнул кровью.

– Семка, забирай болванку, – устало сказал он. – На рассвете уходим отсюда. Пешком. Хватит, к бесам все это...

Глава 6

Усть-вым

В Усть-Выме первым всегда поднимался князь. Мертвые предрассветные часы стали для него самым отрадным временем.

Засветив лучину, князь Ермолай быстро бросил на лоб крест перед киотом и вышел на двор. Спускаясь с гульбища терема, он пнул в ребра сторожа, что дрых на поленнице, потом открыл ворота, отгребая створкой снег, и глянул на свою землю. Земля спала, словно придушенная, придавленная низким беззвездным небом. Дымно темнела тайга за широкой белой полосой Вычегды. Напротив княжеского детинца, на обрыве над Вымью, чернел частоколами зырянский город Йемдын. Старая Пермь... Усть-Вым, ожидая рассвета, тлел караульными кострами в проездах бревенчатых башен. Тускло догорали свечи в высоких окошках епископского собора. Где-то рядом, почти что за крепостными городнями, выла волчица, чье логово вчера разорили лесорубы.

Князь Ермолай, покряхтывая от мороза, вернулся в дом, прошел в свою думную горницу, погрел ладони о печь и сел за стол. Сняв с полки ларец, он разложил перед собой вчерашние записи, расправил свежий берестяной лист, подумал и костяным стилем выдавил первые мелкие и четкие буквы: «А понеже великий князь воинских людей на нас пошлет...»

Если бы Великий князь Московский Василь Василич Второй Темный знал, чем занимается его наместник, князь Ермолай Вереинский, а ныне Ермолай Вычегодский, не сносить бы князю Ермолаю головы. Но Москва далеко, а мечта уже близка, потому князь Ермолай ничего не боялся.

Он составлял Уставную грамоту для своего будущего княжества, вольного и могучего. Уже четвертый год он сам – князь Вычегодский. Старший сын его, тринадцатилетний Миша, – князь Великопермский. На подходе восьмилетний Васька, которого он с божьей помощью лет через пять князем Югорским поставит. Печора сама присоединится к трем его княжествам. Пелымцев он купит или запугает. Вятку продаст казанцам, чтобы татары держали щит между Пермью и Москвой. И вот тогда он отложится и от Москвы, и от Новгорода. Князь Ермолай щедро и властно захватывал земли и дарил земли, менял на них хозяев – пока еще только в сметках. Но скоро сметки эти станут явью, и тогда все – от каменной самойди до Ногайской орды, от Сибири до Московитии – ахнут, увидев, что вдруг на Каменных горах, как сказочные дружины, сами собой вырастут рати нового княжества, а студеные реки ошетинятся неприступными деревянными крепостями. А он, Ермолай, будет владычить в новом княжестве. И княжество его станет неуязвимым, потому что в нем никто не будет пахать полей на склонах неплодородных гор, а будут только торговать, бить зверя, ловить рыбу и гонять стада. И каждый житель будет воином. И воля веча без всяких посадников будет утверждаться только его, князя, приказом.

При свете лучины склоняясь над берестой, князь Ермолай верил: пройдет время, и те уставы, что он сейчас выписывает, будут вырезаны на досках и прибиты к столбам вечевых звонниц. Сначала в его Перми Старой Вычегодской – в Йемдыне, Карьяге, Петкое, Турье, Синдоре, Сыктывкаре, Ибе, Ужге, Керчемье, Аныбе, Лойме. Потом у Мишки в Перми Великой Камской – в Чердыни, Покче, Искоре, Уросе, Редикоре, Афкуле, Кудымкаре, Ныробе, Соликамске. А затем и повсюду в городах людей Каменных гор – в Пелыме, Лозьвинске, Епанчине, Назыме, Игриме, Обдоре, Сыгва-Ляпине, Салия-Гардене... Везде! Князь Ермолай знал, что для исполнения этого замысла ему хватит хитрости и силы. Князь Ермолай понимал, что вся жизнь его, смысл которой только здесь стал ему ясен, вела его к венцу Великого князя Перми Старая, Великия и Чусовския, князя Печорского, Югорского, Пелымского и Самоедского – государя, равного Московскому, Казанскому и Сибирскому.

С детства его звали Татарином за маленький рост и скуластое, смуглое лицо. Он привык быть всем чужим, а потому и не считал зазорным идти к своей цели любым путем. Поначалу он слепо следовал судьбе. В пятнадцать лет он стал князем в отчей подмосковной Верее, когда моровая язва выкосила его семью. После этого он и сошелся с князем Василь Василичем, который по слабости характера, по мнительности и злопамятству не нажил себе друзей-ровни. И Ермолай выжал из этой дружбы все, что смог, да и господь ему пособлял. В восемнадцать лет он спасся в битве с войском князя Юрия Дмитриевича, который в клочья разнес ополчение своего племянника Василия Васильевича и отнял у него московский стол. А через год судьба вызволила Ермолая из ямы смертников, когда Юрий Дмитриевич преставился и тем самым избавил его от плахи. Дальновидность удержала Ермолая от похода на хана Улу-Махмета, который у Суздаля порубил все русское войско и пленил самого Московского князя. Собирая выкуп за него для казанцев, Ермолай прослыл опорой московского стола. За это свирепый Шемяка хотел выколоть ему глаза так же, как он выколол глаза Василь Василичу. Но Ермолай покался Шемяке и целовал ему крест, а потом все равно сбежал в Вологду к ослепленному Василию. Вместе с ним он поехал к игумену Кирилло-Белозерского монастыря Трифону, чтобы тот снял грех клятвoprеступления, а потом под Галичем бил Шемякиных ратников. За все эти заслуги только у него, князя Верей, Василий Темный не отнял удела. На шапку Мономаха больше никто не зарился, но Ермолай чуял, что покоя и власти ему не видать, пока длится грызня Москвы с Новгородом, Псковом и Тверью, пока точат зубы на Русь Улу-Махмет с востока, Азы-Гирей с юга и Казимир с запада. И тогда, четыре года назад, князь Ермолай смиренно обменял Василию Темному свою маленькую Верею на Пермь Вычегодскую Старую и Пермь Камскую Великую. И здесь, пока то ли его враги, то ли его друзья дерутся между собой, он начал создавать свое великое княжество. Ему было в тот год сорок лет.

Князь Ермолай сидел в горнице до рассвета. Дом просыпался: заскрипели половицы под осторожными шагами служек, затрещали дрова в раздуваемой печи, забрякала посуда, захлопали двери, сквозняк качнул огонь лучины. Князь задул его и потянулся, глядя в окно, затянутое мутным пузырем. Где-то за лесами и гребнем гор, над Югрою и Пельмом, вставало низкое солнце севера. А здесь над Вычегодой растекалось тускло-пунцовое зарево, понизу обмахивая тучи малиновыми и сиреневыми отсветами. Князь спрятал в ларец бересты, вышел из горницы и направился к сыновьям, крикнув по пути, чтобы накрывали стол.

Мишка и Васька спали вдвоем на широкой лавке под шкурой белого медведя. Рядом на сундуке дремала нянька, старуха-вогулка Айчейль, взятая рассказывать сказки и учить языку. Князь остановился, рассматривая сыновей. Хоть и в довольстве растут, но в чертах обоих какая-то линия обиды. Живут без матери, умершей родами Васьки. Миша уже и сам князь, года через три уезжать ему в Чердынь. Надежный будет властитель, только уж больно раздумчивый. Наверное, в мамку. А Васька весь в тятю – непоседа, забияка. Лишь бы дураком не был. Ваське земли завоевывать и беречь, а Миша пусть правит, если уж рассудок в нем верх над душевным пылом берет. Надо в ближайшее время Ваську на Печору, в Троицк отправить: пускай приглядывается к людишкам и к земле. А к Мише пора дьяка приставлять, чтобы обучал хитрой науке княжения по книгам разным, по летописям и по грамотам.

– Утро, князь! – крикнул сыновьям Ермолай и сдернул шкуру.

Потом в черной горнице князь распорядился хозяйством, ходил по амбарам и на конюшню, в погребе пробовал закваску, потрепал собак на псарне, дал по шее ключнику: какого беса тот в кладовухе до конца окно не заволок, кот ночью чуть не лопнул, сметаны обожравшись. Князь сам вел все дела – и княжеские, и домашние. Хозяин не тот, кто с державой, а тот, кто с поживой.

Когда князь пришел в трапезную, стол уже был полон. Князь никогда не завтракал один, всегда собирал по утрам тех, кто мог понадобиться днем. И сейчас, усаживаясь во главе,

читая молитву, князь оглядывал пришедших. По правую руку сидел сотник, вологодца Степан Рогожа, старый и опытный ратник, которого князь сманил на долю ясака. По левую руку сел новый человек, игумен Ульяновского монастыря на Вычегде отец Иона – маленький, седенький, розовый старичок с умильным личиком и ласковыми глазами. У монастырей князь Ермолай хотел отнять право сбора пошлин, и настоятеля следовало ублажить. Дальше расселся самый разный народ: дьяки, тиуны, рядчики, гости, купцы, залетный муромский боярин, какой-то иноземец путешественник, устюжский солепромышленник, пара мастеров-артельщиков по ремесленным делам, татарин-соглядатай, лекарь, московский писец и прочие нужные люди, а между ними, конечно, разный сброд – лизоблюды, приживальцы, всякая дрянь, промышляющая темными делишками под благовидной личиной.

Ведя разговоры, провозглашая здравицы, угощая, князь Ермолай поглядывал и на дальний конец стола, где сидели княжичи, а за ними в углу вороной торчала старая Айчейль, а также кое-какие зыряне и пермяки. Князь строго прищурился на кухонного мужика Лукашку. Тот, скорчив честную рожу, развел руками. За столом был и чердынский князец Танег, которого Ермолай почти насильно привез к себе года полтора назад и с тех пор усердно спаивал. Каждое утро Танег вроде бы как в дар по дружбе получал от князя здоровенный кувшин браги. И Танег, сам того не заметив, пропил все – княжество свое, власть, достоинство, облик человеческий. Обрюзглый, трясущийся, мутноглазый, он обиженно держал в обеих руках опустевший кувшин, из которого подлец Лукашка еще до рассвета выпил больше половины – по хारे его свекольной видно. Лукашка выхватил у Танега кувшин и убежал в погреб, к бочкам. Танег жил в княжеском доме, в камере в подклете, вместе с дочкой по имени Тичерть, которая и ходила за ним, как за полоумным. Князь Ермолай давно решил: когда Мишке наступит пора уезжать в Чердынь, он женит его на Танеговой девчонке. Будет Мишка князем по всем законам – и по русскому, и по пермскому. А Танег, пьяница, за баклагу дочь хоть сейчас отдаст.

День катился своим чередом, застолье завершилось. Князь получил благословение от Ульяновского игумена и, напяливая шубу, вышел на крыльцо. Конюх подвел ему застоявшуюся кобылу. У коновязи уже подтягивала подпруги обычная свита из дьяков и тиунов. Князь первым проехал в ворота своей усадьбы, обнесенной, точно крепость, стенами из высоких служб и амбаров и плотно сбитыми пряслами из заостренных кольев.

Дел было по горло. Князь осмотрел, как сложили повал на угловой башне детинца, и остался доволен. Еще летом успели до половины поднять напольные вежи и отсыпать городни, а вот с вычегодской стороны до будущего тепла так и остался торчать гнилой тын времен святителя Стефана. Князь прошелся по ремесленным рядам, разбранил бондаря, пустившего на бочки лыко вместо железных полос, похвалил кольчужника, велел дворовым взять княжатам пару сапог. Потом князь проверил, какой лес привезли на стройку, опробовал новый спуск к Вычегде, глянул на ночной улов возвращающейся рыбацкой артели. На посадке заглянул на торг, потолкался, прицениваясь, чего новенького. В проезжей потолковал с устюжскими купцами, в таможенной избе полистал писцовые книги и для верности перерыл пару сундуков. Затем через Вымь, где на иорданиях русские бабы отбивали белье, проехал в Йемдын, поговорил с приехавшими издалека зырянскими князьками и долго расспрашивал суровых остяцких промысловиков о богатствах их земель.

Вернулся домой – там ждали тиуны, новгородский выборный человек с торговым делом, пинежанин-лодейщик, званный еще весной; рядчики рядились об аршинах и неделях, артельщики жаловались друг на друга, московский писец выкопал какую-то ошибку в ясачных книгах, купцы челом били, пришлый мужичонка из Анфала-городка принес ябеду на соликамского старосту, татарин врал и сулил золотые горы, просили отсрочки платежа гонцы из Локчима: «Зима позна, белка не вылиняла, погоди, кнеса, до большой холод полторы луны...» Князь решал дела, рассылал тиунов, судил, грозился, ударял по рукам – все с ходу, без промедления. А дел не убывало.

Вот солнце уже лесов коснулось, а так и не договорился с Рогожей, чтобы тот Ваську в Троицу повез; и ходоков еще целая толпа в снях мерзнет; и забыл Лукашке плетейсыпать; и не посмотрел, чему десятники новобранцев учат – говорят, только бражничают; и стол неразобранными берестами завален; и не послал никого проверить оленью гуртовку, дальние деланки лесорубов, новых лошадей; и в узилище к Федьке-острожнику не заглянул узнать, будет ли тот признаваться, где золотой самородок сыскал; и грамота мезенская без ответа осталась; и поп, который с дрызгой своей таскается к нему на поклон битый месяц, уже пьяный у крыльца лежит и – Лукашка шепнул – такие словеса про епископа заворачивает, каких и митрополит бы не посмел сказать.

Когда закат багрово и дымно догорал за частоколами лесов, на дозорной башне, что поднялась над кручей вычегодского берега, забил колокол. Значит, кто-то неизвестный приближался к Усть-Выму. Потом застучали копыта по настилу проездной башни, взвизгнули полозья. Собачий брех прокатился по улочкам к дому князя, и в ворота его усадьбы въехали четыре оленьи упряжки.

Сотник Полюд привез из Чердыни ясак. Новые заботы навалились на князя. Только поздним вечером, приняв и пересчитав добро, устроив людей и животных, князь расправился с делами и в душной горнице за чаркой собрался поговорить с Полюдом.

Огромного роста, круглоголовый и вечно нечесанный, с растопыренными усами и бородой, с неистребимым добродушием в маленьких, близко посаженных глазах, Полюд приволок с собой бочонок и уселся на него у стола. Князь позвал игумена Иону и княжича Мишу – пусть послушают, как и чем живет Чердынь. За Мишей приковыляла старая Айчейль и тихо пристроилась на сундуке в углу, как ворона на гробу.

– Что ж, Полюд, тебе с ясаком и послать некого, коли сам прикатил? – усмехнулся князь.

– Дело не в ясаке, а вот в этой кадке. – Полюд стукнул пяткой по бочонку. – Питирим просил лично приглядеть и тайно тебе из рук в руки передать.

– А что там? – заинтересовался князь. – Говори, здесь все свои.

– Помнишь, весной станицу снаряжали? Так вот, дело свое она сделала. Бабу добыла. Здесь она.

– Вот это весть так весть! – изумленно сказал Ермолай. – Ну, сотник, обрадовал! Быть тебе воеводой. А что станица?

Полюд вздохнул, невесело глянув на князя, и пальцем тихонько подвинул к нему по столу свою чарку. Князь наклонил над чаркой кувшин.

– Станица, князь, почитай, вся полегла. Ушкуйники сначала Калину и моих ратников порубили, хотели с хабаром утечь. Потом у них ватажник – Хват, помнишь его? – от раны помер. Еще двое друг друга в драке кончили. Которые двое остались, перли нарты по льду, струганину жрали, обморозились, а все равно хотели втихую мимо городков проскользнуть. С Анфала дозор их заметил – догнали. Сейчас в яме у Питирима сидят. Ну, а Бабу он велел мне до тебя свезти.

– Что ж, посмотрим, – увлеченно сказал князь, ударив кулаком в ладонь.

Полюд встал, поднял бочонок, локтем выбил дно и с усилием вытащил золотого идола. Миша подхватил бочонок, а Полюд опустил Бабу на стол и придвинул к ней светец с лучиной.

Слабый огонек осветил бревенчатые стены, лавки, ставни, плахи потолка, лица людей. Тускло замерцало золото Вагирийомы. Грубо и дико улыбалась Золотая Баба – здесь, в горнице под образами, неуместная и страшная, как отрубленная голова. Князь Ермолай спиной почувствовал, какой нерусской, нечеловеческой жутью повеяло от истукана – жутью пермяцких ропочажников и лысых вогульских тумпов, что встают над гнилыми болотами, тьмою уремной глухомани, где еловые корни, как змеи, оплетают белые черепа валунов, стужей снеговеев, в которых над погибельной тайгой проносится Войпель, пермский Перун, бог Северное Ухо.

– Тьфу на нее, прикрой! – рывкнул князь Ермолай, выдираясь из цепких лап наваждения.

Полюд, переводя дух, набросил на идола старый княжеский зипун. Князь оглянулся. Иона отодвинулся в темноту, словно прячась от медленного и неотвратимого взгляда идола. Миша сидел бледный, с приоткрытым от испуга ртом.

– Во как хватает... – произнес Полюд, разминая пальцами горло. – То-то мне ее Питирим и не показал, а прямо так в бочке сунул.

Два огонька увидел князь в дальнем темном углу горницы. Это по-кошачьи горели глаза старухи Айчейль.

– Пошла вон, карга! – И князь швырнул в нее чаркой.

Князь Ермолай думал, что в эту ночь долго не уснет, но уснул быстро и как-то ошеломительно, словно шел в сумерках, споткнулся и упал в пустую могилу. Так же внезапно он и проснулся посреди ночи. Хотелось пить. Князь протянул руку за ковшом с квасом, и в лунном свете из прорези ставни увидел, что стол пуст. Золотая Баба исчезла.

«Мишка!.. Васька!..» – Бессмысленный страх прошиб князя. Вскочив, он рванул из ножен меч, висевший на стене, и кинулся к сыновьям. Оба спали, укрывшись медвежьей шкурой. Однако старухи-вогулки на ларе, на ее обычном месте, не было.

Князь бесшумно пробежал к сеним. Дверь изнутри была заложена засовом. На крыльце хрустел снегом сторож, побрякивал трещоткой. «Значит, болванка в доме, – успокаиваясь бешенством, подумал князь. – Тащить идола в руках самой старухе не под силу, а кроме старухи из домашних про болванку никто не знал. Кому старуха могла довериться? Танег!»

Ермолай на цыпочках сбежал по лестнице в подклет. В каморе спившегося чердынского князька тлел свет. Князь подошел и распахнул дверь.

Огонек лучины плавал в спертom сивушном мареве. Танег храпел на своем топчане, свесив до земли волосатую руку. Золотой идол стоял на поставце. Зипун, которым укрыл Бабу Полюд, косо висел на углу столешницы, зацепившись воротом. А на другой лавке, где спала Танегова дочка Тичерть, сейчас поверх девочки пластом лежала старуха, прижавшись щекой к ее щеке. Князь затрясся. Глаза у обеих были открыты, губы шевелились, и какое-то полудетское-полустарческое бормотание донеслось до князя.

Князь шагнул к лавке и дернул старуху за плечо. Голова Айчейль со стуком ударилась лбом в доску, тело было как деревянное. Старуха замолкла, не шевелясь, а девочка все продолжала бормотать – глухим, скрипучим голосом старухи.

Волосы дыбом колыхнулись на голове у князя. Стуча зубами и грозя девочке мечом, он сгреб одной рукой идола под мышку, попятился и метнулся в дверь, но врезался головой в притолоку...

Он очнулся в своей горнице на полу. Меч в ножнах висел на стене. Истукан стоял там, где его вчера поставил Полюд, – на столе у окна. Князю хотелось пить.

Он поднялся, выпил квасу, вытер ледяной пот и пошел к сыновьям. Мишка и Васька спали под шкурой. Айчейль лежала на ларе и постанывала во сне. Князь заглянул в сени: дверь на засове, колотушка бренчит у ворот. Князь спустился в подклет. Под дверью каморы Танега светилась полоска. Князь заглянул в камору. Танег храпел, свесив руку до земли. Девочка сопела на лавке, повернувшись лицом к стене. А с угла поставца свисал старый зипун князя.

Ермолай застонал, как подраненный. Вернувшись к себе, он снова долго пил квас. Потом, встав на колени, молился перед божницей, крестил углы, дверь, окно, свой лежак, даже золотого истукана. А затем без сил повалился и уснул.

Ему приснился заснеженный еловый лес под луной – словно разбитое зеркало: то ослепительно блещет, а то глухая, непроглядная, угловатая тьма. По снегу на лыжах бежала Айчейль. Она была одета так же, как в доме: в каких-то шароварах, в рубахе, с тремя кожаными чехлами для кос и в трех платках, по-разному повязанных вокруг головы. Старуха бежала без рукавиц,

хотя от стужи в лесу лопались деревья. Волчья стая неслась вокруг Айчейль; волки иногда оглядывались на старуху, светя желтыми глазами. Не уставая, Айчейль летела по прогалинам и еланям, по снеговым полям, скатывалась со склонов холмов, ведьмой петляла по извилистым долинам речушек. Над землей пылали злые вогульские звезды, и луна была как блюдо, прибитое вместо лица у болвана.

Старуха выбежала на опушку, где высились темные копны чумов. Лежа в снегу, вместе спали собаки и олени. Торчали из сугробов поставленные на попа нарты. Костры погасли. Старуха направилась к самому большому чуму. Полог его откинулся. На входе стоял высокий человек с бледным безбородым лицом, с длинными темными волосами, с рогатым оленьим черепом на голове.

– Здравствуй, князь Асыка, муж мой, – молодым, певучим голосом сказала старуха, останавливаясь.

– Здравствуй, ламия Айчейль, жена моя, – ответил человек в оленьем рогатом черепе.

Айчейль повернула голову, и Ермолай увидел ее лицо – молодое, прекрасное, дивно-прекрасное и смертельно-страшное, ярким и беспощадным взглядом похожее на лик Золотой Бабы.

– И ты здравствуй, князь Ермолай, враг мой, – улыбаясь, сказала Айчейль.

Князь дернулся и проснулся. Рассвет нежными розовыми лучами из-под ставен веером разошелся по сумеречно светлеющей горнице.

Весь день эти полусны-полюявь не выходили из головы князя. Делами он занимался как в тумане. «Эй, Полюд, опохмелил бы его, что ли», – ухмыляясь, шепнул чердынскому сотнику Лукашка.

Вечером княжич Миша остановил отца в сенях.

– Батюшка, – спросил он, – а где сказочница наша? Целый день не показывалась...

Старуху-вогулку искали по всему терему, по всей усадьбе, потом по всему детинцу, кричали о ней на торгу – не нашли. Да еще в сарае пропали старые лыжи.

Глава 7

Владыка

«Стефан соврал, желая славы, а Епифаний трижды соврал... Не веруют они. Не веровали и не будут», – озлобленно думал епископ Питирим. Подметая сугробы лапами бобровой шубы, он выхаживал над кручей по узкой тропинке, проложенной вдоль частоколов Чердынского острожка. Над головой владыки острия тына пропахивали извилистые борозды в низких темных тучах. Под ногами гудел ветер, раздувавший на снежной долине Колвы метельные водовороты. Сквозь дым непогоды мутно темнели дальние леса. Наклонив голову и разметав по плечам длинные космы, епископ угрюмо вышагивал от Тайницкой башни до Спасской и обратно, поджидая Ничейку.

Такой уж день был сегодня – проклятый. Ровно тринадцать лет назад прямо во время службы мальчишка-зырянин удавил пермского епископа Герасима омофором. Герасим был третьим пермским епископом – после Стефана и Исаакия. Питирим его не знал. Он видел лишь скромный крест с двускатной кровлей и иконкой, стоящий у алтарной стены Благовещенского собора в Усть-Выме. Питирим преемствовал Герасиму, и его шибало в тоску и злобу от мысли, что и его жизненный путь завершится таким же крестом у того же алтаря.

«К бесам эту идолскую пермскую землю!» – плевался Питирим. Тринадцать лет назад он и не чаял, что окажется здесь. Грехи утянули: и пожертвованиями попользовался, и винцо уважал, и бабий пол туда же... Но что непростительно игумену Чудова монастыря, то простится Пермскому епископу. Потому сдуру и сунулся сюда, сатане за пазуху. Вот и околачивается тринадцать лет.

Епархия-то плюгавенькая, вроде и забот никаких. Четыре монастыря, семнадцать приходов – и сорок сороков верст вокруг. Питирим рассчитывал пересидеть здесь, в глуши, опасные времена, – да и обратно на Русь. Куда там! И грамоты писал, и лично молил – шиш, не отпускали. Хотел трудами, смирением перевода заслужить, слово о митрополите Алексие составил – и опять без толку. Тогда в козни ударился. В ту пору митрополит Исидор, грек из Солуня, хотел Русь Папе Римскому отдать, а за то был низложен и заточен, но потом бежал. Православная же церковь откололась от ромейского патриарха. Семь лет назад на Московском соборе в первые русские митрополиты выбрали Иону Рязанского. Он, Питирим Пермский, да еще епископы Ефрем Ростовский, Авраам Суздальский и Варлаам Коломенский кричали за Иону. Питирим был уверен, что в благодарность митрополит Иона вытащит его из Перми. Не вытащил. Питирим пропадал заживо. Пил, буянил, бесчинствовал, потом грехи лютые замаливал, каялся, сам на себя епитимьи накладывал – все равно и митрополит, и сам господь забыли о живой душе, мятущейся среди этих гор, лесов и рек.

«Ну и к дьяволу все, – решил Питирим. – Коли ни с правой, ни с левой ноги шагнуть не даете, я шагну сразу обеими. И через подкуп буду действовать, и подвиг совершу».

Год назад Ничейка нашептал епископу, что этим летом вогульский князь Асыка привезет на Гляден Золотую Бабу. Питирим предложил князю Ермолаю замысел, как ее выкрасть. Ермолай согласился, набрал станицу – надежных ушкуйников и ратных людей. Питирим дал станице проводника – храмодела Ваську Калину. С Калиной Питирим познакомился в Соликамске; Калина поставил там Троицкую церковь, а Питирим приехал ее освятить. Со всей этой затеей с Золотой Бабой князь Ермолай обещал Питириму долю.

Станица ушла. Питирим ждал ее в Чердыни, Ермолай – в Усть-Выме. Месяц назад в Чердынь приехал из Анфаловского городка тамошний есаул Кривонос. Анфаловские поймали на камском льду двух оставшихся от станицы ушкуйников, уходивших с хабаром, – Семку и Пишку. Кривонос пригнал разбойников и привез отбитый хабар: Бабу, бочонок с побрякушками и три кошель монет. «Я ж Ухвату пять кошель давал», – напомнил Кривоносу Питирим.

«У него и спроси, где недостача», – ухмыльнулся Кривонос. Питирим дал ему еще кошель, чтобы молчал о двух оставшихся и бочонке. Кривонос понимающе хмыкнул и уехал. Питирим закопал хабар в погребке. Теперь с такими деньгами он сможет сложить с себя сан, вернуться на Русь, основать тихую обитель и безбедно жить там, пока бог не приберет. Полюд по указу Питирима замкнул Семку и Пишку в пустой амбар, а сам повез идолицу в Усть-Вым князю.

Питирим, конечно, мог бы и с Полюдом уехать. Но хотелось побережиться от неудач, особенно когда деньгой разжился. Надо бы еще и дело какое богоугодное совершить, чтобы митрополит на его бегство из Перми не прогневался. Да и опаска перед всевышним тоже... Видно, хоть совесть и сплошь в заплатках, а держит еще божий ветер. Питирим решил вновь покрестить Пермь Великую. Уж за такой-то подвиг должны его перевести куда поближе к митрополиту!..

Но крещение не удалось. Через овраг, сквозь снежную мглу, Питирим глядел на языческую Чердынь, венчавшую высокий холм. Городище здоровенное, куда там до него полупустому русскому острожку. Чердынь, столица Перми Великой... Питирим со злорадством усмехнулся, вспомнив, что князь этой земли спивается в подклете у Ермолая Вымского. Русскому глазу Питирима дико было глядеть на языческий город. Стена из нескольких рядов заостренных кольев, торчавших вкривь и вкось, как широкая щетка, опоясывала вершину горы. Питирим знал, что изнутри к этой стене была еще привалена насыпь, покрытая бревенчатым накатом. Над стеной вставляли сторожевые вышки, похожие на грачиные гнезда, поднявшиеся на ходули. Высокий частокол скрывал гущу тесно столпившихся односкатных хибар, поверху крытых берестой, корой, дерном. Новое городище заслоняло собой старое, порушенное, что топорщилось на третьем холме. Чердынь казалась епископу не людским поселением, а каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом. Это по указу епископа в знак крещения Перми Великой перед уходом на Гляден Калина – царствие ему небесное – поставил в Чердыни часовню. Питирим перенес туда икону Живоначальной Троицы Стефанова письма. Да вот только ни икона, ни часовня ничего не значили.

Пермяки охотно купались в Колве, надевали кресты, кланялись в часовне иконам. «Русский друг – друг сильный, – говорили они. – Мы будем чтить его бога». Потом Питирим уехал по приходам – в Анфал и на Яйву, в Соликамск, в Мошевы и Аниковские деревни, в Верх-Усолку и Усть-Боровую. Когда же он вернулся, дверь в часовню была оплетена паутиной. «Смотри, где мы молились, – оправдывались пермяки, ведя Питирима на свое святилище. – Вот, гляди, твоему богу мы нового идола поставили и дары ему щедрые принесли, золото». В бешенстве Питирим изрубил Христа-идола на щепки.

Он прочел пермякам Евангелие. Они не поняли, что такое фарисеи, синедрион, прокуратор. Питирим пересказал им своими словами, поражаясь, как святотатственно звучит его переложение на чужой язык и чужой быт. «Хороший человек, – одобрили Христа пермяки. – Правильно богов чтит и верно судьбу свою понимает, не прячется от нее, не путает следов. Несомненно, Войпель отнесет все четыре его души-птицы на верхнее небо, а пятую душу – голубя, как ты нам сказал, – вложит в грудь здоровому и красивому младенцу». «Грех!» – орал Питирим, расталкивая пермяков и уходя прочь.

Тогда мириться к нему пришел ихний мудрец – седой и слепой старик, которого вела дочь. «Ты говоришь непонятные нам вещи, – сказал он. – Что такое грех? Человек идет по судьбе, как по дороге. С одной стороны – стена, с другой – обрыв; свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда это такое – грех?»

Потом пермяки пригласили Питирима на праздник, усадили на почетное место. Слепец положил перед собой огромную берестяную книгу, исписанную закорючками Стефановой азбуки. Под струнный плач журавля ощупывая пальцами листы, он начал петь о подвигах бога-

тыря Кудым-Оша. «Ты рассказал нам о своем великом герое, а мы хотим рассказать тебе о своем», – пояснили Питириму. Питирим плюнул и снова ушел.

Он перевел молитвы на пермский язык, и в них бог казался каким-то лесовиком, который за почитание дарует глухарей и песцов. Питирим попросил лучшего резчика в Чердыни охотника Ветлана, чтобы тот вырезал для часовни богоматерь с ангелами, и богоматерь Ветлана походила на Зариню, а ангелы – на шаманов с руками-крыльями, какими пермяки изображают их на своих бронзовых бляхах. Питирим собрал по острожку иконы, и пермяки измазали их жертвенной кровью.

«Они дети душою, – убеждал себя Питирим. – Не по злонамерению богохульствуют, а по неведению...» И в то же время он знал, что это ложь. Пермяки не были детьми. Просто мир в их глазах выглядел совсем не так, как в глазах самого Питирима, или князя Ермолая, или Полюда, или ушкуйника Пишки. В этом мире даже Христос принимал облик идола. И вместо смирения, снисхождения душу Питирима жгла ненависть растравленного самолюбия, давней саднящей обиды на свою несчастливую участь.

Сумерки уже заволакивали дали, когда на тропе появилась темная фигурка Ничейки. Ничейка – пермский человечешко Ичей, прибившийся здесь, в Чердыни, к епископу, – бежал, размахивая руками, и что-то издали кричал Питириму. Вообще-то Ичея по-пермски звали Ичег, но он считал, что зваться на татарский лад величественнее.

– Беда, бата, беда!.. – донеслось до епископа.

Три дня назад в Чердынь съехались все десять пермских князьков. Вместе их свело какое-то важное дело, Питириму неизвестное. Не хватало лишь главного князя – Танега, но его в Чердыни уже и не чаяли увидеть. Питирим послал Ничейку узнать, за каким бесом всполошились пермяки. Теперь, похоже, станет ясно.

– Беда, бата! – повторял, налетев, Ничейка и тяжело дышал. – Асыка, кнеса, Канский Тамга взял, война идет на Йемдын, роччиз бить, гнать обратно!..

До Питирима уже доходили слухи о готовящемся набеге вогулов.

– Где Асыка? – помрачнев, спросил Питирим.

– Близко, бата! Пянтег четыре дня ходить! Большой хонт, много, много мечей!

«Четыре дня до Пянтега... Значит, сейчас, может быть, уже на Анфал приступом идут».

Питирим оглянулся на Колву, словно ожидал увидеть на ней вогульские упряжки.

– А князя зачем собрались? – спросил Питирим.

Морщинистое, подвижное лицо Ничейки сложилось в гримасу скорби.

– Асыка-кнеса за собой зовет, всех зовет. Гонца прислал.

– И что князя ответили? – с презрительной неприязнью поинтересовался Питирим, не ожидая от пермяков ничего, кроме предательства.

– Думают кнесы... – Вспоминая, Ничейка по пальцам начал перечислять: – Ныроб, Акчим, Редикор, Пыскор, Кудымкар говорили: «Не хотим, а роччиз попросят, то с ними против тебя, Асыка-кнес, пойдем, и твоя Тамга нам не указ, мы ее на твою шею не вешали». Урос, Искор и Покча пока молчат, а Пянтег и Губдор согласились Асыку помочь...

«Кто вогулам по пути попался, те и согласились», – понял Питирим. Значит, и прочие согласятся; поупрямятся – и смирятся. Недаром примчались в Чердынь татарские шибаны из Ибыра и Афкуля: им тоже кусок урвать охота... А-а, дьявол их подери! – разъярился Питирим. Пущай хоть солнце с неба срывают, а с него хватит этих чудских напастей! Пусть Ермолай кашу расхлебывает, а ему тут делать нечего!

– Где вогулы пойдут? – хватая Ничейку за плечо, свирепо спросил Питирим. – По Кельтьме или по Колве?

– Не знаю, бата! – прикрываясь локтем, закричал Ничейка. – Прогнали меня кнесы, не знает Ичей!

Питирим постоял, соображая, развернулся и широко пошагал к раскрытым воротам острога. Ничейка тотчас побежал вслед.

– Нарты собирай, – через плечо бросил ему Питирим. – Завтра утром в Усть-Вым уходим. Пропадай все пропадом!

Задолго до рассвета с княжеского двора съехали три олени упряжки. На передней с хореом под мышкой боком лежал Ничейка. Глаза его были красными от бессонной ночи. Вторая упряжка везла свернутый походный чум и припасы. На третьей поместился владыка. Хабар он решил не брать: будет надежнее, если тот полежит пока зарытый в погребе. Надо переждать набег, а потом вернуться за побрякушками.

Свистя смазанными полозьями, нарты пронеслись замеченными улочками острога и сквозь темную, обметанную изморозью башню выкатились в поле. Колва, тускло отсвечивая, простиралась вдаль до самых тусклых туч. На горе косматой пермяцкой шапкой криво сидело городище. Шатры на башнях острожка деревянной короной венчали другую гору, постепенно отступающую за плечо городищенской. Маленький караван уходил в черно-снежную предрассветную мглу.

От Чердыни Ничейка, который все знал и все умел, хотя и прикидывался дурачком, повел по Нырбскому тракту. На рассвете миновали Покчу в устье Кемзелки, где из-за частокола с Ничейкиными псами лениво перелаялись покчинские. Ворга была хорошо накатана, и нарты летели будто с горки. В полдень, когда солнце разгорелось в безоблачном небе, а леса и дали окутались серебристым, иглистым сиянием, прибыли в Вильгорт, где Ничейка свернул к керку своего брата. У Ничейки повсюду были братья, сестры, дядья, тетки и прочая родня. Потрапезничав, покатались дальше и к ночи, уже в темноте, уже преследуемые волчьим воем, въехали в Янидор. Пермьки радушно приветчали епископа и не спрашивали, какая нужда выгнала его из чердынского терема в самую стужу. И так было ясно. От этого Питирим злился и мрачнел.

На следующий день миновали Камгорт, утонувший в сугробах, потом – высокий и грозный Искор, драконом вздыбившийся на каменистой горе. В малиновом тумане заката по золотым снегам въехали в Нырб. Дав оленям передышку, опять сорвались с места. «Пырр! Пырр!» – задорно кричал Ничейка оленям, на лыжах не отставая от упряжек, и, озоруя, хлопал оленей хореом по крестцам. Проехали Бобыкин камень, нависший над Колвой, как бык на водопое, и вскоре на вершине Бойца в низенькой избушке остановились на ночлег, не отваживаясь идти в волчьи часы. За Бойцом по берегу Колвы по грудь в сугробах стояли древние черные идолы с белыми от снега головами, усами и бородами. Питирим плюнул, проезжая вдоль шаманской Дивьей пещеры.

С Колвы свернули на узкую, петлявую Вишерку и в сумерках добрались до пустой по зиме Фадиной деревни. У мостков, вмороженная в омут, лежала барка. Ночевали в остывшей варнице. Питирим, не привычный к зимним таежным ночевкам в маленьком чуме, решил, что под крышей будет теплее, чем под шкурой на лапнике, и ночью чуть насмерть не замерз на цырене. Охая и качая головой, Ничейка поутру поил его от простуды какой-то пахучей, горячей дрянью. Два дня проторчали в Фадиной, покуда епископ не окреп, потом пустились дальше. Легендарные Семь Сосен высокими снежно-хвойными кронами проплыли над головами в ослепительной лазури января, и к вечеру за лесами распахнулось огромное, пустынное поле Чусовского озера.

Полдня шли через озеро, продуваемого всеми ветрами Полуночного океана. Продрогнув, встали на другом берегу возле устья Березовки. На следующий день по засекам, по каким-то своим приметам Ничейка повел оленей напрямик через застывшие болота, петли Березовки, Еловки и Молога и вывел к огромному разлапистому кресту с кровлей, вбитому еще ушкуйниками в незапамятные времена. Отсюда начинался Бухонин волок, а сейчас – просто неглубокая борозда в бездонных снегах. Измучившись, потеряв одного оленя, выползли к речке Нем. Хоть

погода и начала пошаливать, идти по льду стало не в пример легче. Увидев наконец белую долину Вычегды, Питирим почувствовал себя спасшимся из этого снежного ада.

– Трудно, бата, вдвоем, – уважительно сказал Питириму Ничейка. – Молодец, бата, только рожа отморозил. Пырр! Пырр! – весело закричал он оленям и на лыжах ушаркал вперед.

Зима окончательно осатанела, и пришлось встать на берегу, пока по Вычегде день за днем катили бураны. Отощавшие олени едва держались, один пал, другого задрали волки. Собаки прятались в сугробах. Ничейка и Питирим лежали в чуме, прижавшись друг к другу. Припасы кончались. Ничейка отдал свое епископу и что-то жевал, отвернувшись в сторону, – ел струганину из падали. Питирим молчал, тоскуя, и думал о тихой обители, где обретет покой, об огне, о Ермолае, о вогулах, что, как тени, упрямо идут сквозь бураны, о русских городах Перми Великой, где на три острожка всего полсотни ратников Полюда против всех врагов, идолов и заклятий. «Найдет или нет Полюд в своем погребке мой клад, если я не доберусь до Усть-Выма?» – равнодушно размышлял Питирим.

Однажды утром их разбудила тишина.

– Вставай, бата! – тормошил Ничейка. – Ветер ушел! Ехать нада!

Над Вычегдой пылало северное сияние, хрустально перекатываясь огромными полосами и кружа голову. Еле переставляя ноги, Питирим и Ничейка полезли запрягать оленей. Вдруг Ничейка схватил Питирима за руки.

– Тише, бата! – вытаращив глаза, прошептал он. – Вогулы!

Сквозь редкую цепочку сосен на берегу, под переливами неземного огня, они увидели упряжку, медленнодвигающуюся по льду Вычегды. На нартах сидели два вогула с пиками. Завернув шапки так, что уши торчали, как рога, они всматривались и вслушивались в умолкший лес, отыскивая беглецов. Но умные собаки Ничейки не залаяли, олени не всхрипнули, и, помедлив, вогулы повернули обратно.

– Бежать быстро-быстро надо, бата! – жарко зашептал Ничейка. – Асыка-кнес – злой, жить не даст!

Бросив отягощавшие их нарты с чумом, Питирим и Ничейка съехали на лед Вычегды и понеслись дальше, к недалекому уже Усть-Выму. Начинался рассвет, и поднялась поземка.

Питирим лежал на нартах, а Ничейка бежал на лыжах, словно выжидание отнимало у него больше сил, чем бег. В снежных тучах всплывало багровое, обветренное солнце. Вековые ельники по берегам окутались белым дымом. Ничейка оглянулся и завизжал, как подстреленный заяц.

– Вогулы! Вогулы! Асыка-кнеса! – кричал он, нагоняя Питирима.

Епископ тоже оглянулся через плечо. Попутная вьюга хлестнула снегом по глазам, но Питирим разглядел смутные тени нагонявших вогульских упряжек.

– Пырр! Пырр! – вопил Ничейка, хлеща хореем по спинам Питиримовых оленей. – Бата! Спасаться надо, бата! Вон речка Помос, беги туда! Вогулы за Ичеем побегут, бата спрячется, спасется! Беги скорее на Помос, пока мало видно, пока снег заметет! Ичей уведет вогулов, Ичей хитрый!

Питирим приподнялся, присматриваясь к дальним кустам, в которых скрывалось устье Помоса, и тут увидел, как вьюга несет и справа, и слева, и сверху над ним вогульские стрелы. Одна стрела тупо ткнула Ничейку в спину. Тот захлопал лыжами, теряя равновесие, выронил хорей, но удержался на ногах и бежал дальше. Питирим заметил, как на спине Ничейки в дырке, прорванной стрелой, что-то блеснуло.

Питирим боком кинулся на пермяка, перевернув нарты и свалив Ничейку на лед. Треснули лыжи, Ничейка в ужасе взвыл. Питирим за шею вдавил его лицом в снег, сунул руку сзади под ягу, нашарил и выдернул золотое персидское блюдо с отчеканенными царями и львами, поверх которых шаманы нацарапали свои каракули. Блюдо было из тех, что он закопал в погребке княжьего терема в Чердыни.

Олени остановились невядалеке, тяжело поводя боками. Вокруг плясали и лаяли собаки. Свистела вьюга. Питирим выпустил Ничейку, сел в снег и захохотал.

Он неожиданно ясно понял все: Пермь возвращает себе обратно то, что отняли пришельцы. Ничейка разнюхал и выкопал его клад. Князь Асыка возьмет и разрушит Усть-Вым, и ничто не спасет князя Ермолая Вереинского, назвавшегося Вымским. Ничто не спасет и его, Питирима, четвертого епископа этой проклятой страны.

Он видел, как останавливаются передние упряжки вогулов, как с нарт сходят люди с пиками, луками, мечами – странные, так и не понятые, навечно чужие люди с нерусскими лицами и глазами, люди в одеждах из шкур, похожие на зверей или оборотней. Угли души Питирима, угасавшие от голода и усталости, от грехов несправедной жизни, от неудач и несбывшихся надежд, – угли эти вспыхнули последним сумасшедшим пламенем.

Вогулы не сразу поняли, зачем им навстречу побежал этот огромный человек, сбросивший шапку и рукавицы, распахнувший шубу, выломивший жердину из опрокинутых нарт. Почему он хохочет, так страшно раскрывая черный, обмороженный рот в заиндепевшей бороде?

Удар жердиной по уху сбил с ног одного вогула, все лицо которого сразу окрасилось кровью. Обратный взмах покотил по льду другого. Хохоча, как безумный, владыка крутил свое оружие, валя вогулов во все стороны, вышибая мечи из застывших пальцев, ломая руки, разбивая черепа. Крест мотался и кувыркался на его груди. Новые и новые упряжки пронеслись справа и слева от епископа, целая толпа окружила его, но он продолжал драться, даже когда жердь сломалась, когда враги грудой подмяли его под себя, – он махал кулаками, орал, душил кого-то, рвал зубами.

Но его все-таки скрутили, повязали и бросили под ноги неподвижно стоявшему вогульскому князю с бледным, омертвелым лицом. В тишине князь за краешек поднял, как солнце, золотое блюдо, показал его всем и швырнул епископу на грудь.

– Ты Золотую Бабу крал? – по-русски спросил он.

– Проклинаю-у!.. – в каком-то восторге зарычал Питирим прямо в метельное небо.

Его потащили куда-то по снегу, выволокли на обрыв берега, поставили на ноги и прислонили к березе. Раскинув ему руки, вогулы ремнями прикрутили запястья к корявым веткам, а ноги привязали к стволу. Питирим хрипел что-то бессмысленное, мотая окровавленной бородой. Бешено сверкал крест на разорванной рубаше, полоскавшейся на ветру. Вогулы прыгнули с обрыва и пошагали к нартам, оставив епископа висеть распятым на березе.

Одна, другая, третья, пятая, десятая, сотая упряжки мчались внизу мимо владыки, но он их уже не видел. Последние нарт просвистели под обрывом, и река, исполосованная полозьями, опустела. Вьюга застилала следы свежим снегом, мутила воздух. Но, оглядываясь, вогулы долго еще видели красный уголек вечно-кровавой седины Питирима под хрустальным кружевом ветвей заледеневшей березы. Владыка оставался один, распятый над снежным берегом, только он – и огромная река, да, может, еще где-то и бог.

Глава 8

Набег

Княжич Миша жил сказками. Сказкой стала для него и мать, умершая так давно – восемь лет назад. О ней в памяти сохранилось лишь какое-то ласковое, нежное, печальное тепло да отзвук тихого голоса. Этот голос сквозь толщу лет все рассказывал Мише сказку, как хитрая лиса тащит петушка, который позвал ее на блины, и петушок зовет на помощь: «Котик-братик! Котик-братик!.. Несет меня лиса за синие леса...»

Исчезновение матери словно оглушило его, и дальше он рос тихим, послушным, незаметным никому – тем более отцу, который был вечно занят своими делами. Миша не был хилым или затравленным, не был помешанным, но почему-то все считали его слегка блаженненьким. Однако князь Ермолай своим простым и хватким умом сразу определил: этот – грамотей, книжник. Значит, будет править умом и хитростью, а потому надо учить, чтобы знал все крючки княжеских междоусобных премудростей. Мечом пусть машет младший брат – Васька, он побойчее будет. И к Мише приставили учителей.

Он учился прилежно, но ему было скучно. Только сказки овладевали его душой без остатка. Миша убегал в подклеты и на поварни, тайком от всех пробирался в конюшню и в гридницу, молча прятался там в уголку и слушал все подряд. Вековые чащи с болотами и буреломами, дикие звери и яростные стихии, земля, покрытая мхом и валунами, витязь у тына, униженного человечьими головами, и избушка на курьих ножках, где живет горбатая старая ведьма с костяной ногой, а главное – неизъяснимые силы природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему приставленные отцом монахи, – вот что поражало воображение княжича больше, чем хождение по водам, обращение камней в хлебы и вознесение.

Миша не представлял себя богатырем, побеждающим Кощея. Ему нравились не ратные подвиги, а именно та нерусская жуть, с которой богатыри боролись. И когда отец вдруг поменял княжество, перевез свой двор и стол куда-то на край земли, за синие леса, куда за Петушком вечно бежал верный Котик-братик, когда Миша впервые увидел на обрыве над темной рекой частокол пермского городища, эта самая нерусская жуть словно холодом из пещеры дохнула ему в лицо. Отец привез Мишу в сказку.

Здесь, в бескрайней северной парме, русские тесно жались друг к другу, укрывались в крепостях. Но пермяки не были страшнее татар или немцев. За стенами острогов русские прятались от чего-то другого, незримого – от чего стены, наверное, и не могли защитить. А Миша этого «чего-то» не боялся и потому оставался один, вне ошетинившейся копьями толпы. Здесь он стал еще более одинок, чем в Верее, но гораздо меньше чувствовал свое одиночество.

Князь Ермолай считал, что бесстрашие его сына, который совсем не был воином, происходит от наивной любознательности затворника-грамотея, способного засунуть руку в пасть льву, чтобы потрогать зубы. Это было не так, но князь не способен был того понять. А Миша, конечно, объяснить не мог. И потому в Усть-Выме сложилось отношение к старшему княжичу как к божьему человеку, вроде юродивого. Разве что простодушный Полюд, изредка приезжавший из Чердыни, не замечал этого и всегда то вызывал Мишу биться на кулачках, а то дарил деревянную сабелку как обычному тринадцатилетнему мальчишке.

Но и пермяки не держали Мишу за своего, ничем не выделяли среди прочих «роччиз». Будь Миша постарше, он бы насторожился. Но пока что он еще доверял всем. Он не делил людей на своих и чужих, потому что еще не знал такого деления. Не было у него ни матери, ни друга, ни учителя. Брат Васька был еще маловат. Отец был всегда занят. И для Миши пока что существовали только он сам – и весь мир. Он желал видеть, а мир мог показать. И не находилось другого человека между ним и миром, который мог бы превратить подобное положение вещей

в добро или зло. Старая Айчейль, учившая языку и рассказывавшая сказки, была равнодушна к своему делу. Язык пермяков Миша знал плохо, а сказки их почти не понимал. Только девочка Тичерть, дочка чердынского князя Танега, была Мише чуть поближе прочих, но между ними стеной стояло ее недетское горе. Лишь изредка они вместе сидели на лавке в каморе у Танега и слушали, как пьяный князь плачет и поет древние песни своего народа.

Миша видел гибнущего Танега, но не понимал причин его гибели. Он многое мог бы почувствовать, но не умел. Душу княжича еще нужно было разбудить, и сделать это должен был человек, а сделал золотой идол.

Когда Полюд той памятной ночью поставил на стол Золотую Бабу, все, кто был в горнице, – сам Полюд, князь Ермолай, отец Иона, княжич Миша, – ощутили удар по душе, глянув в пустые и безмятежные глаза медленно улыбающегося истукана. Для взрослых, сложившихся людей этот удар был ударом ужаса – ужасом перед злом золота, злом судьбы, злом язычества. А для Миши это был просто удар той силы, которая таилась в земле, породившей идола. Круглый солнечный лик показался Мише дырой в горнило, в недра, и из недр страшным напором вылетел поток, сразу начавший наполнять порожний кувшин Мишиной души. Сила не была еще ни злой, ни доброй. Миша отвел взгляд от идола только потому, что испугался внезапно нарастающей тяжести в груди.

Потом он долго вспоминал и обдумывал свое чувство. Сила земли, ставшая волей идола, казалась злом только потому, что была слишком велика для одного человека. Что ей противопоставить? Как усмирить? Тем более – как подчинить своей воле?

Конечно, Миша не мог облечь эти мысли в слова. Но тревожная необходимость ответа смутила покой его доселе безмятежной души. При виде Золотой Бабы побледнел отважный Полюд, ощерился отец, злобно закрестился всегда умильный игумен Иона. А он, Миша, не почувствовал никакой угрозы – только испуг от их общей неосторожности. Он увидел, что в идоле нет зла, а есть очень большая и чужая сила, другими безоговорочно сочтенная злом. И тогда впервые Миша понял, что далеко не сказочно просто все это – добро, зло, человеческие дела. А потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро, и что есть зло, и что надобно делать.

Но не твердый вывод и даже не сомнение – еще только тревога после той ночи поселилась в душе у княжича. Душа, как слепая, начала неловко ощупывать окружающий мир, проверяя все по себе. И несколько дней спустя, утром, когда князь Танег лежал в горнице на скамье, будучи не в силах сидеть, и тряся, ожидая опохмелки, Миша, с трудом подбирая пермские слова, сказал ему:

– Дядя Танег, не пей вина...

Однажды февральским днем Миша с причетником разбирал в горнице Минеи. За стеной отец о чем-то беседовал с двумя вологодскими купцами. Васьки в Усть-Выме не было: князь Ермолай наконец-то отослал его с сотником Рогожей на Печору – пусть присматривается к своим землям. И в предзакатный час, когда из лесов должны были возвращаться артели, на Благовещенском соборе загудел набатный колокол.

Причетник, разъяснявший Мише картинку складным и затейливым книжным языком, вмиг побелел и застыл с отвисшей бородой. За стеной раздался грохот и лязг. Миша перепрыгнул скамейку и выскочил из горницы.

Пинками отшвыривая с дороги лавки, князь Ермолай с длинным мечом в руке рванулся в сени. На его татарских скулах горели багровые пятна. Вологодские купцы, крестьяне, валились на колени перед кивотом. В другой горнице Полюд напояливал кольчугу, ударяясь локтями о поставцы и стены. По терему загомонили голоса, забухал топот. Набат качался над головами, над крышами, над шатрами башен городка, как северное сияние.

Миша выбежал на крыльцо и увидел, как отец выводит коня из конюшни. Скотники, хлеща и матеря скотину, распихивали ее по хлевам и стойлам. Челядь металась, вооружаясь чем попало – топорами, вилами, косами, рогатинами, жердями, кольем. За гребнем палисада мелькали шапки – народ бежал по улочке кто куда.

Столкнув Мишу со ступенек, промчался мимо Полюд в остроконечном железном шеломе с кольчужной бармицей и сотниковским яловцом. Завизжала баба, сбитая им с ног и окатившая себя закваской из кадушки. Захлопал крыльями, роняя перья, взлетел косматым комом над двором петух, сел на зубец палисада и заорал; в него швырнули полено. Конюхи отволакивали створки ворот. Что-то крича, князь Ермолай пустил коня в проход и врезался в толпу на улочке. Полюд бросился за князем, Миша – за Полюдом.

– Куда, княжонок!.. – хватая за опашень, поймал его в воротах старый конюх Савела. – Брежут, вогуличи налетели! Там сейчас у ворот страсть что за рубка будет... Не дело тебе туда, полезай вон с монахом в погреб от беды подальше.

Савела захлопнул прясла и завалил их огромным брусом. Злые слезы досады брызнули у Миши из глаз. Набат перекашивался в небе, точно гроза.

– Уходи, – велел Савела, вставая у ворот на караул и опираясь на рогатину. – Уходи сам, а то ведь кликну кого – с позором потащат.

Миша повернулся и побежал в дом. «Все равно проберусь на забрало!» – стиснув зубы, думал он. Не увидеть сшибку с вогулами – грозными, загадочными, страшными закаменными воинами – Миша никак не мог. Слишком много слышал он об этом народе в керку и чумах пермяков.

Захватив кочергу, Миша поднялся на верхний ярус дома. Он подцепил кочергой дверь гульбища, заколоченную на зиму, и двумя рывками отодрал ее от косяка. Гульбище было завалено снегом. Размахивая руками и уходя в снег выше колен, княжич добрался до перил на углу, перелез их и прыгнул в сугроб на крыше амбара, а с амбара уже сиганул в проулок.

Он побежал к проездной башне, сталкиваясь с людьми, бегущими навстречу, – с ревущими бабами в сбитых платках и разодранных полушубках, с хрипящими и окровавленными мужиками из артельных и посадских. По улицам уже невозможно было пробраться: там скакали ратники, люди вытаскивали из осадных дворов рогатки, городили завалы из домашнего скарба. Миша петлял по закоулкам. Его сшибали с ног, не узнавая, и он барахтался в сугробах, желтевших собачьими отметинами.

Перед проезжей башней уже шел бой. Миша услышал рев, брань, крики, стук и лязг, треск, ржанье лошадей, мычанье, дикий вой вогульских стрел, яростный собачий лай. На подходах к площади, где сейчас рубились с вогулами, сновал народ, оттаскивал раненых. Ратники прятались за углами, сложенными в обло, крючьями натягивали самострелы, заряжали их тяжелыми болтами. Миша обежал крайнее подворье и с задку полез на заплот, забрался на поленницу, а оттуда – на крышу. С крыши избы он увидел все.

Небо густо засинело, вытаял месяц, но рядом с ним еще висел блеклый желток солнца. Сумерки заволокли леса. Пермьский Йемдын громоздился как вымерший – ворота открыты, и ни души. Пермяки попрятались, не желая ввязываться. Над посадом шевелилось белесое облако дыма подожженных изб; дым потихоньку сползал в распадок Выми и сливался с вечерней мглой.

Вогулы подошли к городку ночью, укрыли в тайге ударный отряд, а днем напали врасплох. Когда забил набат, с другого берега Вычегды к Усть-Выму уже мчались основные силы. За луковым пучком многоглавого собора Миша видел, что вся белая долина реки покрыта летящими к городку оленьими упряжками. А головной отряд вогулов рубился уже внутри городских стен, захватив ворота.

Первыми прорвались огромные боевые лоси, на которых сидели по два всадника в красных одеждах. Это были шаманы-смертники, проворонившие на Глядене Золотую Бабу. Они

орудовали пиками с широкими иззубренными лезвиями; с лезвий свисали кровавые лохмотья. Длинные, тонкие ноги лосей были по колено в крови. Шаманы ворвались в крепость вместе с обезумевшей толпой, что ломанулась с посада и торго под защиту стен. Толпа эта дважды вышибала ворота, затворяемые княжыми дружинниками. А вслед за шаманами сквозь проездную башню хлынули внутрь всадники на косматых лошадях, в одеждах из звериных шкур, со щитами из лосиной кожи, в деревянных доспехах, которые брала только секира или железный болт самострела. За всадниками уже неслись олени с нартами, где сидели лучники в лосиных малицах, прочных, как кольчуги. Вогульские стрелы со свистульками в остриях взвыли над Усть-Вымом, сшибая защитников с недостроенной крепостной стены и поднимая из-за стрех целые птичьи тучи, что с граем и карканьем закружились вокруг снежных шатров над башнями.

Ратники падали и отступали в улочки и проулки, прочь с площади у проезда, где топтались кони и лоси. В свалке им было даже не размахнуться секирой, не развернуть копье, а их мечи и клевцы не доставали всадников, что сверху разили их пиками. Собаки, как на медвежьей охоте, хватили лошадей и лосей за ноги и вместе с людьми, визжа, кувыркались в снегу, разбрызгивая кровь. И Миша с ужасом увидел, как вся площадь постепенно краснеет от человечьей и звериной крови, от красных армяков лежащих ратников, от одежд упавших шаманов. Кровь замерзала, но багровый снег под сапогами и копытами таял, снова становясь кровью, и в этой каше, как срубленные ветки на лесосеке, валялись мечи, копья, стрелы, руки, головы, шапки. Мишу затрясло, и он попятился, словно от нечистой силы.

Дикий клич донесся из-за крепостной стены – это добрались вогулы с другого берега Вычегды. Бревенчатая башня загрохотала, точно барабан. По настилу проезда, свистя полозьями, покатались новые и новые нарты. На передних, широко расставив ноги, стоял человек, на голове которого вместо шлема топорщил рога олений череп. Ратники повернулись и побежали прочь, уворачиваясь от пик нагонявших вогулов, вилая, чтобы не покатиться со стрелой между лопаток. Миша так и не увидел никого знакомого – ни отца, ни Полюда. Вогулы пролетали сквозь башню и с разгона уносились в глубь городка по узким улочкам меж изб и заплотов. За полозьями их нарт тянулись по две красные полосы. Миша на четвереньках пополз к краю крыши и свалился вниз.

До княжеских хором он добрался чудом – бежал, лез через заплоты, полз в сугробах, кубарем откатывался из-под копыт, – и плакал от страха в голос. Пару раз над ним рвали воздух вогульские мечи, молния стрелы опереньем обожгла ухо. Но вогулы слишком быстро неслись по улочкам, чтобы успеть хотя бы зацепить клинком юркого мальчишку. Да и не до него было. С нарт вогулы прыгали на крыши амбаров, на поленницы, росахами перекатывались через заплоты осадных дворов и падали внутрь. Над зубцами оград вороньем тут же взмывали рев и крики. Миша бежал, ничего не соображая. Дремучим звериным чутьем он угадывал опасность и боялся уже только собственной смерти, а не чужой; он лез по телам хрипящих людей, по обломкам нарт, по дрожащим тушам коней и оленей, которые в судороге разбивали копытами брусья палисадов и головы своих вожатых. Миша взобрался на заплот княжьего двора и слетел в сугроб за колодцем.

Во дворе тоже кипел бой. Метались олени, сцепляясь упряжками. На створке распахнутых ворот, прибитый копьём, висел конюх Савела. Вогулы волочили по снегу визжащих, извивающихся баб. Мужики, вооружась чем попало, отмахивались в дверях амбаров и конюшни. Несколько ратников отступали к хоромам, прикрываясь от стрел досками, крышками бочек, даже деревянным корытом. Посреди всей сумятицы, закрыв глаза и подняв над собой крест, торчал давешний монах-причетник, непонятно как живой.

И тут Миша увидел, что дверь сеней отлетела и на крыльцо, шатаясь, вывалился князь Ермолай – безоружный, в разорванном кафтане, с непокрытой головой, с окровавленной щекой. Глаза его были безумные, белые.

– Миша!.. – страшно закричал князь и, схватившись обеими руками за перила, пьяно шагнул вниз по ступенькам.

– Тятя, я здесь! – вставая за колодцем во весь рост, отчаянно завопил Миша.

А в это время на другой стороне двора раскрылся лаз погребца, и оттуда, выдираясь из рук прятавшихся баб, выкатилась растрепанная черноволосая девчонка.

– Ай-Танег! Ай-Танег! – надрывалась она ревом, барахтаясь в сугробе. Это была Тичерть.

Два вогульских копыя одновременно ударили в грудь князя Ермолая, ступившего с крыльца на снег между порубленными ратниками. Князь, оскалившись, как в хохоте, зарычал и вцепился в цевья копий. Некоторое время, все глубже вгоняя острия в грудь, он давил двух рослых вогулов, заставляя их пятиться. Но затем они, выдохнув, приподняли князя над землей. Князь задергал ногами, будто побежал навстречу врагам, и уронил голову. Вогулы повернули копыя и, будто сено с вил, скинули князя под стену амбара.

Миша уже мчался к отцу через двор, сквозь свалку. Сближаясь с ним, неслась и Тичерть, а за ней на жеребце скакал вогул, свесившись с седла и низко над землей протянув меч, чтобы снести девчонке голову. Князь Танег, в одной рубахе и портах, как он пьяный спал в своей камере, растерянно шел к дочке по двору. Танег выбрался из подклета через большое окно, куда спускали мешки с припасами. Танег слышал крик дочки, но не мог увидеть ее в суматохе боя. Он увидел ее в самый последний миг.

Миша столкнулся с девочкой, и оба они полетели на снег, сбив друг друга с ног. Вогульский меч с шелестом пронесся над ними и поперек груди полоснул князя Танега. Танег остановился, не понимая, что разрублен, сделал еще шаг вперед, потом бессильно отступил шага на три и повалился спиной на мертвого князя Ермолая.

Тичерть змеей вывернулась из-под Миши и бросилась отцу на грудь, захлебываясь ужасом. Миша бросился за ней и дернул Танега за плечо, освобождая лицо отца, но поскользнулся на крови и тоже упал на грудь Танегу.

– Спас Тиче... – по-пермски прошептал Танег, глядя на Мишу. – Женой бери... Князем будешь... Кровью отца...

Окровавленные ладони Танега притиснули головы детей к груди, в которой что-то бурлило, и сквозь этот хрип и Миша, и Тиче услышали последний, гулкий удар сердца.

А что было дальше, Миша и не помнил. Остался в памяти волчицын вой девочки да в кончиках пальцев вечное обморожение от прикосновения к мертвому лицу князя Ермолая. И еще одна картина: на крыльце терема, над орущей толпой вогулов в одеждах из звериных шкур стоит высокий бледный человек с рогатым оленьим черепом на голове и поднимает над собой Золотую Бабу. И от него несется на Мишу волна все той же неизмеримой силы, какую раньше излучали глаза истукана, но теперь эта сила уже имеет и вкус, и цвет – вкус и цвет крови.

– Сорни-Най! – победно ревели вогулы.

Миша уже не видел, как вогулы запалили подворье и ринулись в ворота, а в проулке сшиблись с Полюдовыми ратниками, подоспевшими на выручку князю; не видел, как из свалки у ворот прорвался сам Полюд – без шлема, в рассеченной кольчуге, с обломком меча в руке; как он упал коленями на снег возле тела князя и застонал, ощерившись и запрокинув голову.

Оторвав от Танега Тичерть, Полюд перебросил девочку через плечо, подхватил под мышку княжича и поволок обоих через дым пожара к воротам.

– Князя убили! – крикнул он. – Я княжат в собор поташу!

Он бежал по улочкам, левой рукой придерживая на плече девчонку, а правой волоча за собой Мишу. Миша бежал за Полюдом, спотыкался, ревел и размазывал по лицу сажу, слезы, кровь. Дым сизыми гривами полз вдоль стен и заплотов. За углами домов, за концами стропил, за коньками крыш в красно-сизой мгле поднимался, как дракон, многоглавый собор.

На площади сустились бабы, втаскивая раненых по узкой и крутой лестнице в притвор. Стон мешался с рыданиями, молитвы с матерными проклятиями. Бил колокол, словно отсчитывал последние удары сердца городка Усть-Вым.

Полюд затащил детей наверх, в храм. Здесь горели все свечи, непролазной толпой стояли на коленях и молились люди, истово пел поп. От человеческого дыхания, от дыма пожара, от ладана и свеч страшная духота сдавила горло.

– Здесь будьте! – толкнув детей под иконы, рывкнул Полюд, перекрикивая гам, и ринулся обратно.

Дикий бабий визг с лестницы и гульбища, треск досок, чужой боевой клич, донесшийся с площади, встряхнули Мишу, заставляя очнуться. Бабы рвались в дверь как стадо, топча друг друга и раненых, пластая одежду, выдирая косы. В проеме вновь появилась широкая кольчужная спина Полюда. С ревом швырнув кого-то косматого через перила рундука, Полюд влетел в храм и захлопнул тяжелую окованную дверь, грохнул железным засовом. Расталкивая людей, Полюд принялся заваливать дверь лавками. Несколько могучих ударов извне сотрясли косяк, но затем за стеной раздался хруст и дружный вопль – это крыльцо собора, не выдержав тяжести, рухнуло. Вогулы, захватившие площадь, осадили запертый, неприступный собор. Колокол прогудел еще несколькими угасающими ударами и смолк – пробитый стрелами пономарь упал со звонницы к полозьям вогульских нарт.

Полюд протолкался к Мише и сел рядом с ним на пол, обняв его рукой и привалившись к стене.

– Ну, все, князь, – весело сказал он, впервые называя Мишу князем. – Сейчас будут нас жарить.

Вогулов на площади все прибывало. Усть-Вым горел. Собор стоял в дыму. Было слышно, как в нем поют и плачут. Вогулы потащили вязанки хвороста, сено с сеновалов, дрова из поленниц, разбитые прясла заборов, полосы бересты и луба с кровель. Все это они сваливали под стены храма, а потом в эту кучу полетели головни. Огонь, разбегаясь, кольцом охватил здание. Очертания его в дыму заколебались. Казалось, что собор на огне всплывает над землей.

Сквозь непроконопаченные щели дым пополз по трапезной, по молельной. Грозно потемнели лики на иконостасе, съежились язычки свечей. Малиновое зарево заката в окошках приобрело мертвенный синеватый оттенок и задрожало в потоках раскаленного воздуха. В гомоне молитв, стонов, плача раздался вопль ужаса и кашель, заревели дети. Становилось все жарче. Миша взглянул на Полюда, измученно прикрывшего глаза. Лицо его было мокро; русые волосы рассыпались и прилипли к вискам, ко лбу. Тичерть тяжело дышала, раскрыв рот, и бессмысленно пялилась перед собой сквозь свисавшие с бровей черные пряди, словно она перепарилась в бане. Потолок поплыл в Мишиных глазах, колесом закрутилось расписное «небо» со спицами-тяблами. Красный туман за клубился по краям зрения.

И тут из подклета сквозь плахи настила ударили белые струи дыма от вспыхнувшей под храмом рухляди – соболиных, песцовых, горностаевых, куных, лисьих, бобровых, беличьих мехов. И разом лопнула сила, сдерживавшая людей перед лицом гибели. В общем диком реве народ заметался по бревенчатой коробке храма. Кто-то валился на колени, кого-то топтали, кто-то полез на стены. В удушающей мгле скакали адские тени. Вышибли дверь – дым качнулся наружу, и тотчас из-под ног вверх по стенам шархнуло пламя.

Ругаясь и хрипя, Полюд вскочил, поднимая Мишу и Тичерть. Он боком ломанулся сквозь ослепленную, обожженную, ошалелую толпу. Люди рвались к дверному проему и вываливались, выпрыгивали наружу из устья бревенчатой печи, но еще в полете их насквозь пробивали поющие вогульские стрелы. Полюд наперекор всем вывернулся к алтарю, вскочил на амвон и выдернул к себе детей. Мимо на коленях прополз поп, он удушенно сипел и путался в рясе. Люди кучами лежали на полу, трепыхаясь, как выловленная рыба. В притворе орали, перека-

тиваясь, горящие бабы. Храм был весь освещен пламенем пылающих стен. Воздух обжигал грудь.

– Туда! – указывая на высокое окошко, приказал Мише Полюд и кинул его на иконостас. Миша вцепился в резьбу рам, как репей в одежду, и по чинам пополз наверх. Оглянувшись, он увидел, что Полюд карабкается за ним, а на его спине висит Тичерть.

Миша протиснулся в узкий проем и сел верхом. Чистый морозный воздух полоснул его изнутри ножом по ребрам. Храм стоял на круче над Вымью, одной стеной выходя за старый тын. Внизу под ногами Миши была высота в десять сажен до вымского льда, но половину ее съедал крутой, заваленный снегом склон.

– Давай, князь! – прохрипел сзади Полюд.

Миша перекинул другую ногу через оконный проем и прыгнул вниз. Мелькнуло перед глазами небо и чертово гнездо Йемдынского городища. Миша по пояс вонзился в сугроб, стро-нул его и в лавине снега выкатился на лед. Он тотчас поднял голову, отплевываясь, вытирая лицо, и увидел, что по склону на него уже налетает вихрь, в котором барахталась Тичерть. А из маленького окошка в высокой бревенчатой стене, из зарева, словно черт из пекла, лезет дымящийся Полюд.

Втроем они опрометью перебежали вечереющую Вымь и нырнули в лозняк под кручей йемдынского берега. И оттуда они молча глядели, как на стрелке двух рек огромным костром горит до неба русский городок. Огонь пожара сливался с огнем заката, и над Йемдыном кроваво лучились звезды, словно разлетевшиеся с пожарища угли. И Миша не плакал, глядя из кустов, как гибнет город его отца. Миша чувствовал, что пламя этого пожара еще осветит всю его жизнь, а пока что оно уже высушило все слезы.

Часть 2

Глава 9

Пусто свято место

От всех жителей городка, основанного еще Стефаном, уцелело всего человек тридцать посадских и семеро израненных ратников. Их приютили зыряне в своих керку, когда вогулы ушли. Йемдын, видно, чувствовал свою вину за то, что робко спрятался в сугробах, когда русский городок дрался с врагом. Пермьки и русские вместе собрали на пепелище Усть-Выма обугленные кости убитых и сожженных и погребли их в общей могиле. Над могилой скатали из обгорелых бревен часовенку – Неопалимого Спаса на скудельне.

С Вычегды пермский человек Ничейка привез на нартах одеревеневшее тело распятого епископа Питирима. Его похоронили рядом с развалинами алтаря Благовещенского собора, где уже торчал пенек сгоревшего креста на могиле епископа Герасима. Игумен Ульяновского монастыря отец Иона в часовне Неопалимого Спаса венчал Ермолаевых княжат на княжение. Сотник Рогожа привез с Печоры княжича Ваську, и теперь Васька стал князем Перми Старой Вычегодской. Сотник Полюд увозил княжича Мишу на Колву, и теперь Миша стал князем Перми Великой Камской.

Пермь Великая встретила нового князя молча и настороженно. Миша разослал тиунов, призывая к себе пермских князьцов. В Чердынь съехались все десять – не торопясь, но и не пренебрегая. Миша объявил пермякам волю Москвы. Пермские князьцы смотрели на него и видели отрока четырнадцати лет, который выступил один против всех, поддерживаемый только именем: «волею Великого князя Московского удельный князь Михаил Великопермский». Ничего не ответив, пермяки разъехались по своим увтырам и городищам. Ясака в тот год никто не дал.

Зимой Москва прислала Мише думного дьяка Морковникова. И Морковников, и Полюд советовали Мише держать круче. Летом на Пермь за хабаром пришли новгородцы. Полюд с ушкуйниками отправился от Чердыни вниз по рекам, разорил и насильно взял ясак с Редикора, Губдора, Сурмога и Пянтега. Миша намеренно не тронул близлежащую Покчу, и та вскоре сама принесла положенные сорока. Но пермяки разволновались и осенью съехались на совет в Янидор, куда пригласили и молодого князя русских. Миша приехал с Полюдом, Морковниковым и тремя дружинниками, напоказ оставляя себя без воинской защиты. Пермские князьцы привезли с собой шамана – нового пама, заменившего убитого на Глядене. Пам был глух. Он сам медным гвоздем пробил себе уши, чтобы лучше слышать голоса богов.

– Вас, роччиз, как друзей мы пустили жить на наших землях – в Чердыни и Анфале, – сказали Мише пермские князьцы, – а вы грабите нас, и нет у вас к нам уважения. Уходите тогда жить вниз по Каме, на пустые земли, где мало наших селений, где проклятые пепелища Кужмангорты, где стоит ваш Соликамск.

– Мы не уйдем, – ответил Миша. – И мы обяжем вас платить нам ясак.

Князьца внимательно смотрели на худенького пятнадцатилетнего юношу.

– Почему мы должны платить вам?

– Потому что Москва сильнее всех.

– Остяки говорят, что сильнее всех Игрим. Вогулы – что Пелым. Сибирцы – что Искер. Татары – что Казань. Поморы – что Новгород. Вотяки – что Вятка. Даже ногаи говорят, что они сильнее всех, хотя у них нет своего города и они кочуют по земле, как дикие животные.

А твоя Москва дальше, чем Пелым, и Новгород, и Казань, и другие города. Почему же мы должны давать ей ясак?

– Отдайте ему, чего он просит, – вдруг сказал пам, который ничего не слышал.

Князья удивленно молчали. Они не очень доверяли новому паму, потому что его слова часто были совсем не к месту.

– Хорошо, – наконец сказал пянтежский князь Пемдан, по смерти Танега исполнявший роль верховного князя. – На будущий год мы дадим тебе половинный ясак. А потом ты докажешь нам, что ты – самый сильный.

– Сила – это тяжесть, – обращаясь к Мише, сказал шаман. – Ищи ношу по плечу.

На следующий год Морковников поехал собирать ясак. Из Искора дьяка привезли мертвым. В окостеневшей руке у него был зажат мешочек с мышинными шкурками. Полюд с дружиной пошел на Искор. Городище высилось на неприступной скале, единственный подъем на которую преграждали пять могучих валов с частоколами. Горделиво и насмешливо смотрели из-за тына на пришельцев искорские истуканы. Полюд повернул дружину обратно. Мише исполнилось шестнадцать.

Миновала осень, потом зима, заканчивалась весна, и опять никто не вез ясак. Москва прислала гневную грамоту, перечислив недоимки. Князь жил иждивением ратников и промысловиков соликамских починков. Новый ясак придется собирать с боем. Однако промышленным людям не было дела до княжеских забот, а ратники брали в жены пермских девок, сажались на землю, обзаводились хозяйством и не хотели класть головы почем зря. Полюд почти насильно собрал сотню и повел ее на пермские городища, каждое из которых могло выставить столько же, если не больше, защитников. Но и пермяки не горели желанием сразиться. Покча откупилась, выдав соболей. Ныроб не стал ждать и тоже откупился. Дело дошло до гордого, самоуверенного Искора.

Искорский князь Качаим вывел из городища свою дружину. Княжья сотня и пермское войско стояли друг напротив друга. Полюд ждал нападения пермяков, потому что своих было меньше, а нападающий обычно несет большие потери. Бой никак не начинался. Тогда Михаил выехал вперед и знаком подозвал к себе Качаима.

– Смотри, князь Коча, – по-пермски сказал он. – Сейчас мы начнем сражаться, и погибнет сто человек. Благодаря этому ты потеряешь – или, наоборот, сохранишь – тридцать песцовых шкурок. Это несправедная цена. Оставь песцов себе. Я увожу свою сотню.

Ратники вернулись в Чердынь. А вскоре из Искора приехал сын Качаима княжич Бурмот и привез сто соболей.

– Мой отец велел сказать тебе, князь Михаил, что он, пока жив, будет платить тебе ясак, – передал Бурмот. – А мне он велел жить с тобой и защитить тебя, если нападет твой враг.

Потом привезли ясак и другие князья. Михаилу исполнилось семнадцать.

Лето выдалось жаркое, по лесам шел пал, трава сохла на корню, зверье разбегалось. Зимой треснули такие холода, что тайга вымерла. Пермяки голодали. Миша и сам исхудал так, что ходил с палкой.

Весной князья съехались в Чердынь. «Ты по душе нам, русский князь, – сказали пермяки. – Твой разум далеко превосходит твои года. Нам не хотелось бы терять тебя оттого, что русский кан заменит тебя другим князем, который сможет посылать ему больший ясак. Но мы не можем дать тебе даже прежнюю малую дань. Парма пуста, мы едим траву и рыбу. А нам нужно платить и новгородцам, которые скоро придут, и харадж татарам. К тому же на пермские горты уже точат зубы вогулы и остяки, башкорты и вятка. Защити нас хотя бы от новгородцев и татар, и тогда твой кан всегда будет тобой доволен».

Ушкуйники ходили в Пермь каждые три-четыре года, иногда и чаще. Они торговали, но если удавалось – грабили. Их отчаянные ватаги не знали ни чести, ни жалости. Когда они

плыли по реке, пермяки целыми деревнями уходили в тайгу, оставляя на грабеж и сожжение все свое добро. Михаил решил встретить новгородцев на Колве.

На перекате возле крохотной деревушки из трех замшелых керку Михаил велел ставить цепию. Его ратники на мелководе вбили колья поперек реки, а на стрежне перегородили путь веревкой, продетой сквозь чурбаки-кибасья. По приказу Михаила за Фадиной деревней через Вишерку повалили сосну и прибили к ней доску, на которой было вырезано: «Поворачивай. Московская земля». Вскоре лазутчик донес: ушкуйники сдвинули сосну и плывут дальше.

Они плыли мимо колвинских утесов длинной вереницей, один за другим, стоя в ушкуях с веслами в руках. Кожаные запоны от колен до груди, широкие рукавицы, упрямые синие глаза под косматыми бровями... Ратники прятались в кустах перед цепией. Михаил открыто сидел на валуне у воды. Ветер шевелил над ним хоругвь: Георгий пронзает змия. Московский знак.

Полуд разбойничье свистнул в два пальца. Тупые стрелы скользнули в полет с обоих берегов, сшибая ушкуйников в воду. Передние повалились, переворачивая лодки. Те, что посредке, смешались: кто-то рванулся вперед, врезался в кибасья и тоже бултыхнулся в Колву; кто-то бросил весло, помогая товарищу перебраться через борт; кто-то кинулся назад, под защиту. На задних ушкуях новгородцы вытаскивали луки. В таких били стрелами с наконечниками.

У кольев и у цепи болтались на воде перевернутые ушкуи, весла, стрелы. Уцелевшие новгородцы повернули лодки и угребали назад, против реки. Пермские насады прошлись по Колве, вытаскивая из ледяной воды барахтающихся ушкуйников. Насады плыли над мертвецами и утопленниками, лежащими на дне, как спящие. Их было видно, когда отвесные лучи полуденного солнца насквозь пронзали глубину. Новгородцев набралось десятков пять. Десятка два утекли да столько же погибло. «Ступайте, молодцы, восвояси, – сказал ушкуйникам Михаил. – И передайте боярам да посадским в Новгороде, что отныне кончилась здесь дармовщинка и не будет ни ясака, ни хабара, а коли торговать захотите – не забывайте Московскому князю пошлину платить, вира дороже станет».

В тот год Михаилу исполнилось восемнадцать. Наступившим летом он хотел уладить и дело с татарами, но это оказалось сложнее, чем пострелять ушкуйников. Татары сидели в крепостях – в Ибыре и Афкуле, а свой харадж начали собирать с пермяков еще задолго до прихода московитов. Ссориться с татарскими шибанами князь Михаил не хотел: до Москвы и на помеле не доберешься, а Казань рядом. Михаил поехал на переговоры и, простояв станом три дня у запертых ворот Афкуля, вернулся ни с чем – шибан Мансур праздновал очередную свадьбу и говорить о делах не пожелал. На две грамоты русского князя он ответил тем, что содрал с пермяков такой харадж, от какого вместо соболей пермяки начали отдавать баскакам девчонок. Отписав все, как есть, приложив два жалких сорока соболей и чернобурок, Михаил с первым льдом направил в Москву гонца, прося у князя Василия войска.

И снова навалилась зима, давая передышку, и целыми днями, закутавшись в шубу, молодой князь простаивал на обходах башен Чердынского острожка, молча глядя неизвестно куда. Он думал о делах, которые худо-бедно, но делались, а все равно казались ему неисполнимыми. Он вспоминал отца. Батюшке Ермолай Матвеечу небось по нраву пришлось бы на Мишином месте. Он ведь охоч был до трудных задач, до борьбы; был ухватист, напорист, ловок, неутомим. Но батюшка лежит в скудельнице в Усть-Выме, под часовней Спаса Неопалимая Купина. И все мечты батюшки, которые он вечерами раскрывал сыновьям, – о вечевых звонницах и досках с «Пермской правдой», о княжестве промысловиков, охотников, оленеводов и торговцев, – все эти мечты здесь, под чердынским небом, казались наивной сказкой.

А жизнь извечно идет по-своему, безлично, и Мише она привычно страшна до полного равнодушия. Миша знал, что его называют «малохольным князем», и усмехался: а кого-то из них, из ратников, русских мужиков или пермяков-охотников, больше, чем его, что ли, холили? Не в этом дело. Дело в том, что у него какая-то душевная цинга. Пусть нет боли, но чего-

то беспросветно не хватает. Даже Полюд, ставший Мише вместо отца, однажды сказал ему: «Женись, Мишка. Пропадешь. Женись, князь».

Но девушки Мишу не привлекали. Он не думал ни о женитьбе, ни о будущем. В глубине души, не отдавая себе в том отчета, он вообще не верил в нужность, в действенность своих занятий. Он что-то делал лишь потому, что в нем была сила молодости, требующая выхода. Пермьки уважали его за разумную справедливость и бескорыстие. Но Миша никогда не примерял: разумно ли он поступает? Справедливо ли? Будет ли ему с этого выгода? Он поступал так, как положено. Ему не имело смысла поступать иначе. Ведь каждый человек знает, что и как ему надо делать на своем месте; однако эта большая истина всегда идет вразрез с сутью маленького человека. Князь же Михаил не имел в себе этой сути. Миша словно выгорел изнутри в тот давний усть-вымский пожар. Не осталось ничего – ни боли, ни любви, ни надежды, ни зависти, ни тоски. Миша был пуст, как дом, который сгорел так, что жильцы его покинули, хотя стены еще стоят наперекор ветрам, дождям и снегопадам. А в пустом доме всегда поселяются духи.

Миша понимал это, но не боялся. Полюд тоже понимал, но как-то по-своему. Пусть и слишком прямодушно, но он был убежден, что есть в человеке что-то неизменно человеческое, что можно утратить только вместе с самой жизнью. Как когда-то в Усть-Выме он дарил нелюдимому княжичу деревянные сабельки, словно обычному мальчишке, так и сейчас он верил во что-то простое и доброе, что обязательно появится в пустой душе надломленного князя.

Однажды Миша и Полюд ехали с дружиной в Соликамск по лесной дороге и остановились у старой часовни. Лет двадцать назад посадские люди Калинниковы сманили откуда-то с Вологды на Усть-Боровую несколько семей переселенцев. Возле этой часовни их обоз застигла пурга. Люди забились под крышу, пережидая непогоду, и все замерзли насмерть – и мужики, и бабы, и детишки. В память о них соликамцы долго ухаживали за часовней, не давая ей рухнуть, но в конце концов все равно забросили. Ушедшая в землю кривая избенка заросла мхом, на провалившейся крыше выросла малина, паучье затянуло сетями окошки и дверь.

«Дозволь, князь, задержаться, – подлатаем хоромину», – попросили Михаила ратники. Миша долго смотрел на часовню. «Не надо, едем», – ответил он. «Свято место пусто не бывает», – добавил Полюд. «Что?» – изумленно переспросил его Миша, никогда еще не слышавший этой пословицы. Полюд повторил. Он имел в виду, что пока люди помнят о тех замерзших горемыках, то и бог будет с ними, хоть часовня и обветшала. Полюд считал, что «свято место» не бывает без бога. Он все понимал слишком прямодушно. А Миша понял, как надо.

Пусто свято место, – потом часто думал он. Он глядел в себя и убеждался – пусто. В его душе только то, что вокруг, – великая парма, стылые реки, зубцы скал под печально далекими облаками и древняя, наверное, вечная мысль, остановившая время над этой суровой землей. И больше – ничего. Пусто. Пусто. Да и ладно. Да будет так. Но почему же тогда внезапно щемит сердце, когда в сумерках, проезжая мимо незнакомой деревни, он видит в чужом окошке теплый огонек чьей-то лучины?

Глава 10

Возвращение птиц

По вешней воде, сразу после ледохода, княжеская барка плыла вниз по Каме. Закинув руки за голову, Михаил всю дорогу лежал на скамье, покрытой медвежьей шкурой, и глядел в небо. Погода стояла ветреная. Шумели непролазные ельники на красных глинистых крутоярах. Журчала вода в ветвях повалившихся с обрыва деревьев. Брызги с весел падали на лицо. По ясной, размытой синеве неба быстро текли высокие, неожиданно темные облака. Раннее, холодное солнце высвечивало то один берег, то другой, то сквозистый по весне лес на склоне дальней пармы, то мокрые лопасти над мутной водой у борта.

Князь плыл на встречу с татарским шибаном, который неожиданно прислал льстивую грамоту. Михаил не знал, что заставило заносчивого шибана Мансура искать примирения с русским князем. Михаил вообще не собирался разговаривать с татаринном. Ябеда послана; прочтут ее в Москве, пришлют войско и турнут шибана из Афкуля. Видимо, хитрый татарин учуял угрозу в молчании чердынского князя и потому пошел на попятную, оставил спесь.

Полюд с Михаилом не поехал, послал вместо себя верного Бурмота – Обормотку, как он его звал. Бурмот давно уже учился у русского сотника командовать отрядом, и сейчас Полюд отдал ему десяток ратников. Бурмот был совсем не дурак, не обормот, но зато страшный тугодум. Он таскался за князем, не оставляя того и на час. Князь в седло – Бурмот в седло, князь на полати – Бурмот на залавок, князь за книгу – Бурмот за спиной сопит, а потом листы прочитанные перевернет, осмотрит, разве что не обнюхает. У кряжистого, невысокого Бурмота была крупная, как котел, голова и всегда суровое лицо. Михаил привык к постоянному насупленному присутствию Бурмота, как к тени.

До обвинского устья дошли по течению на веслах, а дальше, вверх по Обве до Афкуля, шибан прислал своих бурлаков. Бурлаки ждали на стрелке, палили костер.

– Русские, – глядя на них, сообщил зоркий Бурмот. – Рабы шибана.

– Не удержался татарин, чтобы меня не поддеть. – Михаил сплюнул за борт.

Бурлаки разобрали лямки и потащили барку. Михаил разглядывал их с борта. Бурлаки были в рванье, сквозь дыры которого чернели истощенные тела. Их ноги в лаптях, в оленьих кисах, в поршнях или даже попросту завернутые в куски бересты и коры ступали по льду, по мерзлому изломанному тальнику, проваливались в наст. По кровавым следам ехали татарские всадники с камчами. Бурлацкий путь шел по бровке высокого берега, где лес был вырублен еще лет двести назад, когда во времена хана Беркая на Обве татары поставили свою крепость, когда шибаны начали драть с пермяков харадж. С тех пор бурлаки тянули шибасы и тюрени вверх по великой реке Рудерус и дальше по Темному Итилю – по Каме.

На ночь татары отгоняли бурлаков в сторону, а княжеским ратникам не давали даже переключнуться с ними. Рослого, краснорожего, сивобородого мужика, который что-то закричал через головы стражи, татарин поперек груди ожег плетью.

Далеко за полночь Михаил проснулся оттого, что кто-то поскребся и, шепча: «Князь!.. Князь!..» – полез в шатер, не отодвигая полога. В светлом сумраке майской ночи Михаил увидел, как сразу встрепенулся на своей лежанке Бурмот и блеснул его нож. «Свой я, бурлак!» – прошептал гость.

– Бурмот, засвети лучину, – приподнимаясь, велел князь.

В шатре у входа сидел давешний краснорожий мужик, что шел в упряжке гусакон. Он был в одних портах, с которых текла вода.

– Мимо татарвы плыть пришлось, а река-то ледяная... – прохрипел мужик и потянул к себе кошму, которой укрывался Бурмот. – Дозволь, князь, согреться... Дело у меня к тебе.

– Какое?.. Бурмот, дай ему баклагу, пусть хлебнет.

Мужик хватил хмельного, отер усы.

– Знаю я, зачем тебя шибан Мансур позвал. Понимаю по-татарски, подслушал. Поймал он твоего гонца, которого ты в Москву с ябедой послал. Узнал, что ты войско просишь. Перепугался и хочет с тобой харадж делить.

– Н-ну, ладно, – пожал плечами Михаил. – Хорошо. Почто же ты ночью приплыл? Это бы я и без тебя узнал от шибана.

– А я тебе другое скажу, про что он рассказывать не будет. Шибан Мансур – сильно родовитый мурза и на пермяках богат не меньше казанского хана. Только в опале он. Боится Мансур, что вскоре помрет в Москве князь Василий Васильевич Темный и на стол сядет сын его, Иван Васильевич. А Иван не в батюшку пошел. Жаден-то так же, а нравом лют. Прознает, что татары серебро закамское у него из-под носа гребут, и сразу дружину вышлет. Казанский хан Мансуру помогать не станет. Вот и хочет Мансур с тобой замирииться, чтобы ты на него ябед не слал, и уступить тебе часть хараджа. Умный он, понимает, что лучше малый кус потерять, чем весь пирог.

– Вот это хорошая весть, – согласился Михаил.

– И теперь главное, зачем плыл к тебе. При таких делах Мансур не только на долю хараджа согласится, а и много еще на что – и на пошлину, и на торговлю... Ты же, князь, попроси у него нас отдать – русских. Двадцать три человека нас в рабстве. Мы к тебе пойдем служить – или к государю, как рассудишь, только не забудь единоверцев. Отплатим. Есть среди нас полезные, редкие люди – кто россыпи золотые знает, кто по самоцветам, кто по железу, кому о старых курганах известно, где клады лежат. Забери нас, князь, не пожалеешь.

– Попрошу за вас шибана, – кивнул Михаил. – Слово даю. Как звать-то тебя?

– А уж это, князь, не важно, – стаскивая с плеч кошму, ответил бурлак.

Вечером следующего дня барка прибыла к Афкулю. Князь с интересом рассматривал крепость, не похожую ни на пермские городища, ни на русские острожки. Наклонный тын над кручей обвинского берега был составлен из высоких и редких кольев и гребнем нависал над отмелью. За тыном среди четырехскатных крыш, обмазанных глиной, торчали тонкие деревянные минареты. Огромные пузатые башни в ряд стояли только по напольной стороне.

Шибан Мансур принял князя Михаила наутро. Напялив несколько халатов, шибан лежал на топчане, устланном коврами, с балдахинном на резных столбиках, а на верхушке балдахина сиял золотой полумесяц. По сторонам с саблями наголо берегли мурзу четыре бритоголовых батыра, голых по пояс. Две девушки заплетали косичку на жирном затылке шибана. У ног шибана на скамеечке сидел богато одетый, поразительно красивый юноша. Рядом на полу стояло золотое блюдо с сушеным инжиром.

Князю подали высокое жесткое кресло, Бурмоту – такую же скамеечку, на какой сидел красивый юноша. Стражники привели толмача, в котором Михаил с удивлением узнал давешнего бурлака.

Шибан говорил едва слышным тонким голосом. Толмач, глядя себе под ноги, спокойно переводил витиеватые фразы. Красивый юноша нетерпеливо постукивал носком расшитого ичига.

Шибан торговался хитро, цепко, но Михаил был непреклонен. Принесли вино и булатную саблю в подарок. Вино князь едва пригубил, а саблю сразу взял Бурмот. Шибан начал сдаваться и предложил передвинуть торг на вечер. Князь сослался на срочные дела. Наконец сошлись на том, что татары и русские собирают дань по очереди – год харадж, год ясак. За это князь согласился не посылать ябед, не грозить Ибыру и Афкулю войском, негласно признать земли по Каме ниже обвинского устья за татарами, то есть безьясачными, а с ними и черемисские берега. В свой черед шибан обещал за пушной торг с пермяками помимо хараджа платить в Чердынь пошлину, а рыбий клык брать вообще только у русских купцов, пропускать по Каме в Казань без платы все русские суда и вернуть Михаилу всех русских рабов. На случай войны

между Москвой и Казанью каждый обязался не поднимать друг против друга меча. Михаил был доволен. Договор скрепили пиалой с бузой, над которой шибан сказал:

– На этой далекой земле нет ни аллаха, ни Иисуса, ни русского князя, ни татарского хана. Здесь хозяева только мы с тобой – ты, Михаил, и я, Мансур. Давай жить в мире, помогать друг другу и ублажать своих государей, чтобы они не заботились нашими делами. Тогда наши дома станут полными чашами, у нас будет вдоволь жен и коней, а дети наши не изведуют нужды.

– Понятно, – усмехнулся Михаил, кивая.

– Я знаю, – продолжал Мансур, – что вогулы, союзники моего хана, грозят твоим городам и землям, и в беде я помогу тебе своим войском, лишь бы ни русские полки, ни татарские тумены здесь не появлялись. Если мы будем вместе собирать дань и вместе обороняться, то мы сможем без чужого надзора подумать и о себе самих, верно?

Пока Михаил и Бурмот сидели у Мансура, ратники обменяли у татар тяжелую барку на три легкие шибасы да еще прикупили три пермяцких каюка для освобожденных бурлаков. Вечером, когда грузили пожитки, чтобы с рассветом vyplыть в обратный путь, от мурзы пришел юноша, который присутствовал на переговорах, и привел с собой еще одного пленного – чердынца Семку-Дуру, отправленного Михаилом в Москву с ябедой.

– Эх ты, Дура! – смеясь, сказал ему один из ратников, отвешивая подзатыльник. – Небось и палец до ноздри не донесешь, не то что княжью грамоту в Москву!

– Ладно зубы-то скалить, а то как дам по ним... – мрачно бурчал здоровенный Семка, почесываясь. – И так в яме всего меня виша татарская разъела, а ты еще тут подсолить лезешь...

Ратники дружно захохотали.

– Послушай, князь, – обратился юноша к Михаилу. – Я – сын мурзы Мансура Исур. Мой отец торговец, а я – воин! Возьми меня с собой в Чердынь.

– А я ни с кем воевать не собираюсь, – ответил Михаил.

– Все равно хакан Асыка нападет на тебя! Я буду драться с Асыкой!

– За меня, чужака, головой рисковать? – удивился князь. – Или просто бранной славы ищешь?

– Я ищу Асыку! – горделиво заявил Исур. – Я должен отомстить ему за то, что он напал и увел в полон мою невесту!

– А-а... – сказал князь. – Ясно. Что ж, будет батюшкино дозволение, так езжай ко мне.

– Он сам послал меня к тебе соглядатаем, но я хочу ехать воином!

Михаил усмехнулся:

– Хорошо. Собирай пожитки и приходи.

– Я воин! Мне нужна только сабля, а она всегда при мне! – Исур шлепнул ладонью по ножнам на бедре.

– Ишь ты какой, – усмехнулся князь. – Откуда по-русски говорить умеешь?

– Я этого петушка выучил, – со стороны ответил толмач, тоже слушавший разговор.

И вдруг страшно завопил Семка-Дура. Вытаращив глаза, он указывал на толмача пальцем. Губы его прыгали.

– Святы господи!.. – наконец выговорил он. – Васька Калина!.. Я же сам видел, как Ухват тебе голову срубил!..

Ратники уставились на бывшего бурлака.

– Так ведь дождик тогда шел, вот новая и выросла, – отшутился бурлак, поворачиваясь и собираясь уйти.

Михаил поймал его за рукав.

– Постой, – велел он. – Ватага Ухвата? Ты оттуда?

– Потом, князь, расскажу, – высвобождая руку, ответил Калина. – Когда ушей поубавится...

В путь вышли, как и хотели, на рассвете. До устья Обвы шибасы и каюки долетели после полудня. Дальше, против мощного напора вешней камской воды, идти пришлось на веслах и гораздо медленнее. Только на восьмой день караван добрался до Анфалова городка и Пянтега. Князь стремился успеть на пермский праздник Возвращения Птиц. Это был праздник лесных богов, чествуя которых пермяки пели, плясали, камлали и приносили жертвы в священных рощах Дия, Сурмога, Бондюга, Пянтега, отмечая приход весны.

Князь Михаил плыл в одной лодке с Бурмотом, Исуром, Калиной и тремя ратниками. Калина рассказал Михаилу давнюю историю ватаги, ушедшей на Гляден за Золотой Бабой. Завершение этой истории князь и сам видел в пожаре Усть-Выма. Уцелевшие ушкуйники – Семка-Дура и Пишка – считали Калину погибшим, однако Калина выжил. Его подобрала вогулка-охотница по имени Солэ. Она перевезла его к себе в павыл, одиноко стоящий в тайге на берегу Чусовой. Вогулку считали ведьмой, и сама она считала себя ведьмой, а потому не боялась появляться на проклятом Балбанкаре. Она выходила Калину, и тот прожил у нее полтора года, пока на рыбалке случайно не попался татарам. Еще четыре года он ходил в бурлацкой лямке. О заклании Сорни-Най, Золотой Бабы, Калина ничего не сказал князю, да и сам князь умолчал, что дважды видел Вагирьюму в лицо.

От Пянтега караван двинулся дальше и через три дня подошел к Бондюгу, укрывшемуся во впадине камской излучины. Весна входила в силу. С парм облезал последний снег. Половодье заливало луга и распадки, громоздя вырванный с корнем, поломанный лес. Где-то рядом то и дело гремели быстрые грозы. С обрывов в воду шумно падали деревья и ручьи. По бескрайней реке плыли, вращаясь, оторванные от берегов острова. Плыли в небе среди облаков и солнца птичьи стаи. В урманах трубили пьяные бешеные лоси. Пахло водой, слепила синева, и первая травка шелком светилась на округлых склонах древних курганов. Михаил, как молебну, внимал могучему гулу этой огромной весны и верил, что этой божьей буре нельзя не поклониться.

Бондюг был небольшой деревней, не имевшей никаких укреплений. Священная роща оберегала его надежнее стен. Вокруг домов, на выгонах и выпасах, стояли чумы приезжих. Стада расплозились по еланям и луговинам. В роще дымно горели костры, стучали барабаны, слышались звуки свирели и журавля, ныл варган, звенели бубны и колокольцы, пели женщины. Пока ратники поднимали шатры и разбивали стан, Михаил, Бурмот, Исур и Калина пошли в рощу.

Березы разбежались по широкому полю, вдали смешиваясь с елками. Размашистое крыло Камы вздымало березовый строй на обрыв. Здесь высилась очень старая, огромная, развесистая береза, почерневшая понизу, изуродованная древесными грибами. Ветви ее были увешаны лентами, бубенчиками, венками, тряпичными куколками, деревянными фигурками. У корней лежала обтесанная жертвенная колода. У этой березы девушки выпрашивали женихов, женщины – детей, старухи – смерти, и все, кому не хватало тепла, доброты, удачи, просили счастья и хоронили обиды. Повсюду в роще были натканы низенькие черные идолки. На земле были выложены из камней непонятные узоры, круги. Сейчас у этой березы девушки встали в хоровод в честь возвращения птиц, и народ покинул шаманские шалаши и жертвенники.

Михаил, Бурмот и Калина задержались возле седого старика-шамана. Старик приносил в жертву щенков. Полуслепой, он нашаривал на земле щенка, нежно брал его в ладони, гладил его, беззубо улыбаясь, совал ему в рот пососать палец. И вдруг тихо, легко, незаметно прокалывал ему сердце тонкой иглой из рыбьей кости, а потом бросал трупик в большой костер. Михаил глядел и не видел в лице, в руках старика ни злости, ни жестокости, ни безумия испуганной веры. На щеках шамана блестели слезы. Ему и самому было жаль щенков. Пушистые кутята бестолково ползали в прошлогодней траве у его ног, тыкались носами, взвизгивали, переваливались друг через друга. «Зачем же он их убивает?» – с гневом и шемящей нежностью к щенкам думал Михаил. Бурмот вдруг отвязал от шапки монету и положил на пенек возле костра. И Михаил неожиданно почувствовал, что эти гибнущие щенята – просто

искорки, которые старик бережно выпускает в остывшие за долгую зиму угли жизни, такой хрупкой и быстротечной. Озноб инеем пробежал по груди и плечам князя, и князь поспешно отошел прочь.

– А наш Христос не та же ль искра? – вдруг спросил Калина, шагавший рядом. – Только такая, что вовеки не погаснет...

Михаил покосился на него, поразившись странной созвучности мыслей.

Под песню женщин, обступивших поляну кругом, девушки танцевали у священной березы. Пермьяки расступились, пропуская русского князя и его спутников в первый ряд, где стояли парни-женихи, а посередке, скрестив на груди руки, – Исур с покровительственной и довольной улыбкой на горделиво обрисованных губах под тонкими усиками.

– Епископ Питирим хотел срубить эту березу, – шепнул Михаилу Калина. – Прокудливая, говорил... Пермьяки не дали.

Девушки двигались несколькими рядами, что сплетались и расходились кругами. Головы они покрыли маленькими венками из подснежников, в руках держали первые зеленые ветки, взмахивая ими, раскачиваясь и кружась. Михаил прислушался к словам, что плавно выводил женский хор: «На широких крыльях песни унесу вас в край преданий, пусть слова мои, как зерна, в вашем сердце прорастают, есть запев у древних песен, есть начало у народа, сероглазые чудины жили в парме в давний век...»

Над Камой вдали разгорался закат, и его резкий красный свет разбавлялся майской лунной синевой, белыми ветвями берез в вышине. Розовой, ангельской нежностью он просеивался вниз, озаряя юные, нерусские лица девушек, их золотые косы, странные глаза, незнакомые губы, тонкие и гибкие фигуры. А девушки со своими ветвями-крыльями и вправду вдруг казались стаями птиц, устало опускающихся на родную землю. Завораживали их медленные, плавные движения. И Михаилу внезапно почудилось, что среди черных, выходящих теней вдруг мелькнул настоящий призрак. Линии тел, рук, ветвей задрожали в его глазах, как отражения в потревоженной воде. Чем-то страшным, словно сумраком крыла, обмахнуло Михаила и принесло легкий запах гари.

Строй девушек рассыпался. Каждая уже шла с венком в руках к жениху, к любимому, к избраннику. За плечами и лицами вновь промелькнула тень того давнего страха, и вновь, и вновь... И тут Михаил увидел, что и к нему тоже идет девушка с венком. Она была в круглой кожаной шапочке с длинными, до пояса, ушами и в чем-то черном, не скрывающем ни одной черты тела, но против солнца Михаил никак не мог увидеть лица девушки, узнать, кто же она?..

– Это тебе, Михан, – тихо сказала девушка, надевая князю венок.

И по этому обращению – «Михан» – Михаил вспомнил.

– Тиче... – потрясенно прошептал он.

Он увидел перед собой черные, непроницаемые, безмятежные глаза, глядевшие куда-то сквозь него, сквозь людей, сквозь весь мир, и сразу узнал Тичерть, дочь погибшего в Усть-Выме чердынского князя Танега, и тотчас понял, что все равно уже не узнает ее, не узнает того нового и главного, чем стала она за прошедшие со времени пожара годы. И Михаил был потрясен, почувствовав, как то страшное, кровавое и дикое, что выжгло его душу, то, чего он старался никогда не вспоминать, вдруг меняется и делается словно бы сказкой – страшной, кровавой, но все равно волшебной и любимой, давней и успокоительно невозвратной. Черствая, окостеневшая душа князя вдруг разом словно выдохнула из себя сковывающее ее зло и жадно стала набухать всем, что было вокруг нее в этот миг, – а прежде всего этой девушкой, Тичерть, Тиче, его невестой, нареченной ему кровью отца на усть-вымском снегу.

Михаил не помнил, как в тот вечер добрался до шатра, и три дня ходил сам не свой, не в силах вновь встретиться с Тичерть или отдать приказ собираться в Чердынь. Венок, что надела ему девушка, был замечен всеми. Ратники перешептывались; пермяки не трогались с

мест, сидя по своим чумам и ожидая развязки. Откуда-то всем стало известно, как погиб Танег и что он сказал перед смертью.

Первым не выдержал Исур. Подкараулив князя за деревней, он сказал:

– Хочу поговорить с тобою как мужчина с женщиной. Я все узнал. Она живет у дальних родственников отца, которые отдадут ее за калым. Скажи мне: берешь ты ее или нет? Если нет, то в жены ее куплю я.

Михаил только бессильно махнул рукой и ушел.

Потом, уже ночью, подступился Бурмот. Он долго сидел на своей кошме, сопел, кашлял, сморкался, почесывался и наконец с трудом заговорил:

– Ай-Полуд рад будет. Она – дочь главного князя. Станет твоей женой – будешь совсем пермский князь. Сама пришла. Ай-Полуд скажет: «Хорошо!» Бери.

Михаил застонал и отвернулся лицом в стенку шатра.

Наконец, когда Михаил, сбежав, рыбачил на острове, в отмель толкнулась лодка Калины. Калина сел рядом с князем на кромку исады.

– Поехали в Чердынь, князь, – попросил он. – Знаю, что в твоей душе. Не верь себе. Не человек она. Чертовка. Ламия. Нет счастья выше любви ламии, но любовь эта сжигает, не грея. Погубишь душу христианскую. А ее душа не богом вдохнута. Из земли она пришла, от дьявола, колдовством пермским из пекла выволочена. Ламии – не бабы, князь, хоть и слаще любой бабы. Оборотни. Это сама Сорни-Най в человеческом обличье. Спалит любовью, и будешь делать, что она пожелает. Волю свою на демонскую променяешь. Я тоже ламию любил, князь. Землю есть был готов, но ей не сдался. Обожгла она меня всего, кровь отравила, жизнь хуже пытки стала, но я выдюжил. А ты больно молод еще... Откажись. Пропадешь.

– А мертвецом жить, как раньше, лучше, что ли? – тихо спросил князь.

– Не знаю. Но когда я понял, что моя Айчейль – ламия, мне показалось, что лучше быть мертвецом. А с ламией даже умереть не сможешь. Любовь не отпустит.

– У меня в Усть-Выме няньку тоже звали Айчейль, – только и ответил князь.

На третью ночь он тихо поднялся с лежака, с ловкостью вора обогнул спящего у полога Бурмота и вынырнул под небо. Сопротивляться больше не было сил.

Над рощей демоновыми городищами пылали созвездия. В ветвях свистели, звенели, шелкали соловьи, словно там запуталось северное сияние. Сверкающая дорога Камы уносилась к Луне. В кромешной тьме князь видел каждую травинку. У Прокудливой Березы было пусто.

Михаил постоял, глубоко дыша холодным, черным камским ветром. И тут из-за Березы вышла Тиче, молча прислонилась к стволу плечом и щекой, положила на него ладонь.

– Не бойся меня, Михан... – тихо и жалобно позвала она.

Михаил шагнул ближе. Он робко обнял девушку за плечи и услышал, как на ее пояске зазвенели подвешенные на счастье лошадки-бубенчики. Прокудливая Береза растопырила корявые ветви, а над ними блестело лунное блюдо – как лик Золотой Бабы в руках человека с рогатым оленьим черепом на голове. И пение соловьев, чуть слышный звон лошадок-бубенчиков вдруг показались князю дальним отголоском победного вогульского рева: «Сорни-Най! Сорни-Най!...» Тиче всхлинула и уткнулась Михаилу в грудь.

– Боже... – застонал князь. – Боже... Я люблю тебя, Тиче...

Глава 11

Иона Пустоглазый

Васька, пятнадцатилетний князь Василий Ермолаевич Вымско-Вычегодский, писал: «...а еще, брат мой Миша, забери ты у меня епископа нашего Иону. Он епископ Пермский, пускай и в Перми Великой поживет хоть малость. Надоед он мне хуже горькой редьки. Боюсь, прибыю».

Князь Михаил дочитал грамоту до конца, свернул берестяную полоску трубочкой и стал задумчиво постукивать ею по краю стола. Бурмот молча и неподвижно сидел на скамье. Полюд, покусывая усы, вырезал из сучка погремушку; завернутые в тряпицу сухие горошины торчали у него из-за голенища сапога. Тичерь кормила грудью Матвейку – трехмесячного княжонка Пермского. Роды несколько не испортили ее; она стала даже словно бы тоньше, прозрачнее, и на побелевшем за долгую зиму лице тепло темнели черные глаза, будто проталины.

– Что скажете, советчики? – спросил Михаил.

– А чего говорить? – Полюд выплюнул ус. – Пусть приезжает. Помню я Иону по Усть-Выму, старикашка терпимый.

– А чего же братец-то убить его хотел? – усмехнулся Михаил.

– Да твой братец и за тараканом с мечом побежит, нрав такой, – спокойно пояснил Полюд. – А епископ нам тут нужен. В городище чердынском шепчутся, что летом вогулы придут. Мол, князь Асыка опять красную стрелу разослал и хонты собирает. Давеча видел я, что Исайка-охотник вятскому купцу всех своих соболей продал. Хоть, говорит, и продешевлю, да все чень-то в мошне останется, ведь вогулы придут – все задаром возьмут, счастье, коли башка уцелеет. – Полюд вздохнул и повертел погремушку, рассматривая, где чего еще подстругать. – Будет у нас епископ – будет нас Москва беречь, подмогу в случае беды вышлет. Князь-то великий Иван не чета батюшке, царство ему небесное, авось не забудет нас, не просыплет меж пальцами...

– А ты, Тиче, что скажешь? – Князь глянул на жену.

Тичерь подняла ребенка торчком, держа наготове уголок платка, чтобы сразу вытереть младенцу рот. Она безмятежно посмотрела на князя и улыбнулась.

– Новый шаман посвятит нашего сына в русскую веру. Ведь русский кан не сделает князем иноверца. А я хочу, чтобы наш сын был пермским князем.

– Верно, милая! – обрадовался Полюд. – Об этом я и не подумал!..

Княжонок Матвей до сих пор оставался некрещеным. В Чердыни попа не было, а соликамский батюшка Варфоломей болел и не мог приехать.

Полюд поднялся, собираясь выходить, погладил Тиче по склоненной голове, сделал Матвейке козу, и тут засопел, закричал Бурмот. Было видно, что и ему хочется сказать что-нибудь дельное, чтобы заслужить похвалу Полюда.

– Надо велеть Калыну, пусть дом строит, – изрек он.

Полюд выпучил глаза, поднял палец и значительно сказал:

– А это самое важнейшее! Ты, Обормотка, уж проследи сам, а то мы, грешные, точно напортачим!

Как только отбушевало северное половодье и лето обсушило по заливным лугам полои, из Усть-Выма в Чердынь поволокся епископский караван. По Вычегде, по Кельтме тяжелые лодки проползли мимо облысевших круглых быганов, сквозь глухую рамень и речные буреломы и вывалились в Каму. От Бондюга до Чердыни монахи шагали Русским вожем, а скарб их ехал сзади на телегах, запряженных оленями. Из ворот острога встречать вычегодских попов высыпал весь народ.

Епископ Иона совсем не изменился за те семь лет, что Михаил его не видел. Такой же крохотный, чистенький, седенький и розовый старичок, бодро шагающий возле передней телеги

с высоким костяным посохом в руке. Улыбаясь и благословляя направо и налево, он первым вошел в ворота острожка. Князь спустился ему навстречу с крыльца своих хором, и епископ протянул ему для поцелуя зеленое медное распятие, перекрестив склонившуюся голову Михаила. За частоколом острога, за почерневшей грядой высокого ельника заходило солнце, разбросав над пармой алые клочья облаков. Проем под воротной башней пылал прямыми закатными лучами. Из этого слепящего сияния одна за другой появлялись вороньи фигуры монахов, подоткнувших рясы за кушак и снявших клобуки с мокрых, взлохмаченных грив.

Михаил взглянул в глаза Ионы и снова поразился – глаза были водянисто-голубые, почти прозрачные, за что еще в Усть-Выме Иону прозвали Пустоглазым.

В горнице уже готовились принимать гостей. У длинного стола служили Тичерть и косоротая баба-пермячка, что обычно хозяйничала на поварне у неженатых ратников, которые жили в остроге по осадным дворам или в княжьей гриднице.

Пока в домовый часовне служили обедню, за стенкой скрипели половицы, брякала посуда. Жирный синий чад с запахом лука и жареного мяса змеями плавал вокруг образов и лампад.

– Ну, как живете-можете, княже? – усаживаясь во главе стола, ласково спрашивал Иона. – Вырос-то как, возмужал... Вот уж батюшка покойный порадовался бы. И баба у тебя славная! А где ж княжонок-то? Э-э-э, милая, мне скоромного не надо, обет. – Иона отодвинул деревянное блюдо с рябчиком, что поставила Тиче. – Мне, княже, вели попроще – молочка там с хлебушком... Мы люди божьи, нам об утробе печься грех.

– Нету хлеба, владыка, – кланяясь, ответил Михаил. – За зиму все подъели, сухаря не оставили. Хлеб у нас теперь только осенью будет, не обессудь.

– Съешь тогда харюза рубленого с моченой репой, – не поклонившись, предложила старику Тиче.

Иона растерянно уставился на нее, словно бы с ним заговорил идол. И князь вдруг ощутил что-то странное в тех взглядах, которыми обменялись полудикая женщина-пермячка с глазами ночной нечисти и ласковый старичок-поп с прозвищем Пустоглазый.

Хоть Иона и разменял шестой десяток, он сохранил юношескую, если не отроческую, резвость. С первых же дней он наотрез отказался жить в домике, который ему наскоро выстроили у острожной стены.

– Храма божьего еще нет, значит, и мне своей крыши пока не надо. – Он махнул надомишко маленькой ручкой. – Встану на постой пока что к тебе, княже. – И он нежно погладил Михаила по локтю.

В толпе устьвымцев Михаил увидел знакомое лисье лицо, обросшее пегой бородашкой. Лишь с подсказки Полюда он вспомнил, что это пермский человечешко Ничейка, который после вогульского набега привез на пепелище мертвого епископа Питирима.

Иона бодро обегал весь острожек, заглянул во все избы на посаде, приветливо здороваясь с хозяйками, которые, дуры эдакие, пугливо прятались в темных углах, и раздаривал детям деревянных петушков и лошадок, невесть откуда нашедшихся в его скарбе. Детвора из городища уже на третий день стала караулить Иону у ворот, боясь пробежать внутрь острожка мимо здорового стражника с секирой и сажеными усами. Иона угощал детей кедровыми орешками, сваренными в меду, – в числе прочих подарков их целый мешок прислали посадские из Усолья Камского.

Князь сопровождал Иону, когда тот в первый раз отправился в городище в часовню, чья маковка так неуместно торчала над тыном и коньками языческой Чердыни.

– Чудно живут! – весело удивлялся Иона, разглядывая непривычные избы, черные от времени колья городьбы, резные узоры вокруг маленьких окошек под свесом кровли. – Ох, беса тешат, беса тешат... – укоризненно бормотал он, проходя под покосившимися болва-

нами-охранителями, что торчали на перекрестьях узких улочек. – Воссияет и здесь слово божье и просветит малых и неразумных сих, кои едино любимы господом наравне с праведниками, – поучительно говорил Иона князю.

Через толпу выжидательно молчавших пермяков Иона подошел к часовне, уже малость скособочившейся, и оттащил в сторону скрипучую дверь. Князь знал, что те пермяки, которых покрестил Питирим, ходили в часовню, но обряды их сильно смахивали на идолопоклонство. И сейчас в часовне в свете лучин Михаил увидел тех же чудских богов. Вырезанный чердынским мастером Ветланом из цельного елового ствола, Христос с высокими пермскими скулами и прищуренными глазами охотника сидел в алтаре, подперев ладонью щеку. Резная Богоматерь, как Заринь с Витькаром и Пупикаром, стояла с апостолами, больше похожими на леших. Запах чего-то тухлого – запоздало убранной жертвы – ударил в нос. Иона, крестясь, попятился из часовни.

– И в божий храм сатана пролез! – изумленно сказал он князю и оглянулся на пермяков. – Грешно вам, которые с крестом, под святыми образами кудесить! Выломайте всех истуканов отсюда ныне же, бейте плетью их да в костер! – наставительно добавил он и, вздыхая, пошагал обратно. – Воочию вижу, князь, что немецкое папство – ересь, – сказал он, выходя из ворот городища. – Что немцы-еретики, что пермяки-язычники одинаково вместо ликов статуям идолским молятся. Запустил ты подданных своих. Ну да грех понятный, ты ж не пастырь. Повсюду бесы расселись, небось скоро и гайтан в качели превратят. Много нам, видно, работы тут предстоит, князь. Что ж, с божьей помощью одолеем... Идолов – в плети, как Володимер Перуна, а людишек лаской, приветным словом охватим. Тоже души живые. Не отдам я их лукавому, на то здесь и поставлен.

Иона с монахами, князем и Калиной долго кружили по ядреному, чеканному бору, венчавшему соседний с острожным холм над Колвой. Столь красив был могучий сосняк, что рука не подымалась подступить к нему с топором.

– Благодать! – глубоко вдохнув хвойный ветер из тайги, умильно сказал Иона. – Здесь, князь, на будущий год будем монастырь ставить. Нельзя такой большой земле без обители. Ты пермякам вели вместо ясака артелями тут побатрачить. Вершину расчистить, храм сложить, кельи, стены с башнями... Кто у тебя главный строитель-то?

– Вот он. – Михаил кивнул на Калину.

– А вот мой строитель – отец Дионисий. – Иона указал на тощего и высокого старого монаха с суровым лицом и клочкастыми седыми бровями. – Будет настоятелем. Так что готовьтесь вместе за дело браться. Холм к снегам от леса заголить надо, да и бревна свезти покрепче, чтоб века монастырь простоял.

Калина хмуро глянул на Дионисия и отвернулся. Дионисий упрямо смотрел себе под ноги. А князя Михаила уже начала раздражать ласковая и слепая неугомонность епископа. Он понял, почему брат Васька так хотел избавиться от Ионы. Монахи потянулись за владыкой вниз по склону холма, а Калина все стоял в папоротниках, задрал голову, и глядел на сосновые вершины, сквозь которые лучилось ослепительное небо.

– Такую красу свести! – горько сказал он князю. – Э-эх! Пустоглазый!..

На Прокла Великие Росы Иона наконец-то собрался поехать по русским селениям Перми Великой. Михаил провожал его с облегчением.

– Вернусь уж после Семена Летопроводца, – говорил князю Иона, усаживаясь в возок. – А там, к первым снегам, и крещение устрою. И пермяков в православие обращу, и младенцев, всех. Жить в Чердыни я долго собираюсь, так что обратно к идолам не отобьются. И ты не бойся, княже: там и твоего сыночка окрестим.

Михаил долго стоял на пыльной дороге, глядя, как, прыгая на камнях, укатываются вниз по склону телеги. Что-то тяжелое, даже зловещее, почудилось ему в словах Ионы. Словно обе-

щание его было страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, бродили на верхней Вишере.

Михаилу потом еще долго не давала покоя мысль о предстоящем крещении пермяков. Он вглядывался в себя: не потерял ли в нем христианин? Нет, вера в нем не пошатнулась. Но здесь, в дремучей Перми Великой, где городища стерегут тайгу, Христова вера была пока еще не нужная, излишняя. Люди, верящие в зверей и демонов, не примут богочеловека. Богов принимают лишь тех, что вырастают из своей земли. А здесь вырастают идолы, а не иконы.

Однажды ночью Михаил почувствовал, что Тиче рядом с ним не спит. Он повернул голову и увидел ее глаза, черно горевшие на белом, словно подсвеченном изнутри, лице.

– Тиче... – тихо позвал он. – Я боюсь крещения...

Нежная ладонь коснулась его скулы, легла на лоб.

– Пусть мой князь правит народом, который одной с ним веры. Он тогда станет сильнее всех.

Михаил грустно улыбнулся и хотел возразить, но Тиче вдруг ящеркой скользнула на него, обхватила его голову руками, мягко опаяла его тело своим телом, закрывая губами его рот.

– Тебе будет трудно, Михан, но ты сможешь преодолеть все, я знаю. И наш сын будет властелином пармы. Михан... Михан...

От ее полустона-полурычания в зыбке проснулся княжонок. Тиче, глубоко выдохнув и обмякнув, оторвалась от мужа. Ночь была облачная, ставни были закрыты, но в крошечной тьме Михаил все равно видел ее – с черной растрепанной гривой, с влажно блестящим белым телом. Он удивился, как сильны, гибки и точны ее движения в таком мраке – словно у ночного зверя. Тиче взяла младенца и приложила к груди, тихонько покачивая вправо-влево. И сейчас она вдруг показалась князю Богоматерью – но не такой, к какой он привык: в длинных одеждах, бесплотной, излучающей печаль. Нет, она была языческой богоматерью – нагой, отважной, сильной, как волчица, которая, улыбаясь сама себе, кормит самого хищного волчонка в стае.

Иона вернулся даже раньше, чем обещал, – в конце лета. С ним приехали старец Дионисий и четверо монахов. Остальная братия рассеялась по пустым соликамским храмам в малолюдных, но крепко рубленных деревнях среди великих лесов и рек.

Отдохнув лишь ночь, Иона крепко взялся за дело. Целыми днями, проповедуя, увещевая и грозя, пропадал он в городище. И пермяки потихоньку потянулись по утрам мимо острога на монастырский холм. В менадче застучали топоры. С гулом повалились вековые янтарные сосны. Оголяясь, вершина холма не остывала, курилась дымом костров, на которых жгли корье и сучья. Один за другим вставляли целые снопы из очищенных бревен, приготовленных на строительство. В речку Чердынку чертовыми колесами покатались со склона выкорчеванные пни. Обнаженный холм тяжело округлился, словно вывалился из недр земли на заливные луга у Колвы.

– Он ведь, песья борода, твоим, князь, именем народец страшит, чтобы шли на работу, – словно бы случайно, как-то сказал Михаилу Полюд.

Михаил, разгневавшись, отыскал Иону. Иона в сокрушенном изумлении всплеснул руками, глаза его увлажнились, он открыл рот, и оттуда, как рыбы из дырявого невода, потоком посыпались на князя упреки, жалобы, поучения, наставления, притчи. Михаил, не дослушав, махнул рукой и пошел прочь.

А осень стояла долгая, ясная, ветреная. Снег все никак не ложился, и дожди, не дозревшие, не падали с облаков, быстро проносящихся над Чердынью. Рожи царственно позолотели и осквозились, хрупкий и прозрачный свет низкого солнца до окоема озарил бескрайнее таежное море, по которому бежали облачные тени, цепляясь за изломы далеких утесов. Уплывали на полдень птицы, пожухла и полегла на пожнях трава, и крепкий иней уже не таял на рассвете.

В назначенный Ионей день огромная толпа вразброд повалила из ворот городища и острожка, с посада, с дороги на монастырский холм. Русские поселенцы смешались с пермя-

ками-охотниками. Бабы сбивались в кучи и шептались, застревая на дороге. Всюду шныряла детвора, путались под ногами лохматые собаки. Посреди толпы на конях, по четверо в ряд, медленно ехали княжеские ратники в броне, в наручах и поножах, с яловцами на шлемах и яблоками на щитах. Только Полюд, ехавший первым справа, был одет в простую одежду. Правой рукой он держал на весу тяжело плескавшуюся княжескую хоругвь с медведем, книгой и крестом на алом поле. Сам князь шагал в толпе вместе с Тиче, Бурмотом и Калиной. Примчавшийся на праздник из Афкуля Исур так и не поборол гордости, не спешил, а потому тащился сзади. На конях со своими советниками и воеводами ехали и прибывшие пермские князья – Пемдан Пянтежский, Сойгат Покчинский, Керчег Янидорский, Колог Пыскорский, окрещенный еще Питиримом, Качаим Искорский, отец Бурмота, совсем еще юный Мичкин из Уроса. Несли на носилках глухого пама с Глядена. Под руки вели совсем седого, благообразного сказителя-слепца, единственного в Чердыни, кто еще понимал Стефанову грамоту, а за ним шла его дочь Пассэр, Бисерка, как звал ее Полюд, и рядом с Бисеркой шагал маленький, незаметный охотник Ветлан, лучший резчик в Чердыни. Прибыли усольские старосты, анфаловский есаул Кривонос и много другого, своего и чужого, люда.

Толпа поднялась на вершину холма, всю изрытую ямами, засыпанную золой, корой, ветками. Здесь уже высилась новенькая желтая часовня, а рядом с ней темнел в земле свежий ров, засыпанный хворостом. Из хвороста торчали головы и стопы идолов.

Толпа окружила часовню, и на ее пороге появился Иона. Он долго оглядывал свою паству и наконец поднял над головой серебряный крест. Гомон в толпе потихоньку угасал.

– От сего храма, – тонко и громко закричал Иона дребезжащим голосом, – да зачнется обитель, славнейшая в парме, реченная Иоанна Богослова именем, на сей горе да воздвигнется и сиими людьми да укрепитя в вере своей и славе, аминь!

И странная тишина висела над холмом, над народом, пока Иона освящал часовню, и только птицы и ветер были слышны вокруг, словно вода веков уже затопила и людей, и города. А когда в часовне началась служба, зазвенели кольчуги, зашуршала одежда, скрипнула земля под русскими коленями. А вслед за русскими на колени стали опускаться и пермяки – крещенные и язычники, князья и голь. Когда Иона вышел на крыльцо и увидел коленопреклоненную толпу, глаза его блеснули умиленным торжеством. Он снова вздернул крест и начал проповедь.

Михаил слушал Иону и поражался безумству и отваге этого маленького старичка с распятием в руках. Пермяки наполовину не понимали того, о чем говорил Иона, а он говорил как раз о них, об их истуканах и болванах, о кудесниках, одержимых бесами, о страшном грехе идолопоклонства, о муках, уготованных грешникам. Михаил перевел взгляд на ров с идолами. Во рву лежали в основном злые духи – Омоль, придумавший холод и голод, ведьма Йома, суровый лесной мужик Комполен, водяной Вакуль, пожиратель утопленников, и прочие кули-дьяволы. Среди идолов не было ни Торума, ни Ена, ни мяндашей, ни ервов, ни Перы-охотника, ни Кудым-Оша. Михаил присмотрелся и вздрогнул: среди черных чудовищ стоял, покосившись, и резной Христос, выломанный Ионой из чердынской часовни.

– Како же Володимер Креститель высек Перуна, тако же и я высеку идолов! – провозгласил Иона.

Он очутился у рва и звучно хлестнул плетью по идолам. Монахи со свечами и факелами шли за епископом. Пермяки замерли в благоговейном ужасе. Конечно, никто не любил ни кайского лешего Висела, ни людоедку Таньварпекву, ни огненного ящера Гондыра, но ведь и никто не решался бить их доселе. А плетью гуляла по деревянным глазам, ртам, рукам, туловищам. После каждых трех – пяти ударов Иона властно протягивал назад руку, и монахи совали ему факел, подожженный от церковной свечи. Иона швырял факел в ров и шагал дальше. И вдруг плетью полоснула по Христу, сломав ему ладонь у лица. Иона задержался, с остервенением лупцуя Христа, а тот, безрукий, уже не мог защититься и покорно подставлял впалые щеки. Какое-то нехорошее чувство заворачивалось в душе у князя. Он прищурился. Иона орудовал его пле-

тью, всегда висевшей на стене в горнице. «Вот и пусти в дом праведника», – подумал Михаил и первым, не скрываясь, поднялся с колен.

Костер широко и жарко разгорался, и в пламени страшно кривлялись, корчили бесовские рожи черные идола. Иона отступил от жара, отбросил плетъ и взял в руки большую берестяную книгу.

Михаил знал, что это за книга. Ее много лет Стефановской азбукой писал слепец-сказитель. Он писал и сразу пел. Он пел о том, как был сотворен мир, и лебедь-Ен снес яйцо-солнце, а злой Омоль разбил его; как была создана земля, а потом начался потоп, и лишь святые горы-ялпынги спасли живущих; как бобр украл для людей у Торума огонь; как Ош отдал людям шкуру греться в страшный холод, насланный Омодем. Старик писал о Пере-охотнике, научившем делать металл, и Кудым-Оше, научившем сеять рожь. Писал о жене Кудыма зверолицей Хостэ, ставшей красавицей от любви мужа, и сыне их Руме, выпустившем солнце из пещеры Ящера. Писал о древних народах, их городах и святилищах, о злых пришельцах – лесных всадниках, научивших строить могильные курганы и подаривших лошадей, о войне вису и угру, о булгарах, мурманах и монголах, о великих бедах и великих канах своего народа – обо всем, о чем кто-то забыл, а кто-то и не знал. Эту книгу несколько дней назад принесли в дар Ионе. Пермь, принесший ее, передал и слова старика: «Народы наши сошлись на одной земле и вот теперь меняются богами. Поменяемся же и мудростью, ибо жить нам вместе вечно».

– Идолам – идолское! – выкрикнул Иона Пустоглазый, поднимая книгу. Сил вздеть огромный фолиант над головой ему не хватило, и он от груди толкнул книгу в костер. Она упала на горящий хворост, раскинувшись, как птица, и берестяные листы, испещренные выдавленными закорючками, тотчас вспыхнули.

Глаза князя сами собою обратились на старика-сказителя. Тот стоял ничего не видя и тихо улыбался, греясь теплом костра. Борода и волосы его шевелились на горячем ветру, алые и золотые. Бисерка, дочь старика-сказителя, стояла на коленях, вцепившись в отцовскую руку, и, расширив глаза, в ужасе кусала губы. А за спиной слепца упрямо поднялся во весь свой невеликий рост охотник и резчик Ветлан. Смуглое лицо его от света костра стало бронзовым.

– А теперь – в воду! – провозгласил Иона. – Пусть очистит вас река, и да примите вы святое крещение!

Толпа, нарушая оцепенение, шевельнулась, распалась, и люди по тропкам потекли вниз с крутого холма к Колве. Иону свели под руки, принесли алтарь-складень.

– В воду, в воду!.. – с образом и распятием в руках кричал Иона огромной толпе, заполнившей весь пойменный луг.

Пермьки заходили в воду – кто по колени, кто по пояс, умывались и выходили обратно. Монахи, как милостыню, швыряли в толпу горсти кипарисовых крестиков. Иона все что-то кричал. Люди ползали в пожухлой прибрежной траве, собирая крестики, кто-то уже выпрашивал их у монахов с кошельками в руках, кто-то подносил Ионе орущего младенца, кто-то ссорился с соседом, кто-то торговался из-за находки, обменивая повыгоднее. Гомон огласил берег.

Михаил, Тиче, Исур, Полюд, Калина и Бурмот стояли рядом с епископом. Нянька Табарга, запыхавшись, подбежала к ним с княжонком Матвейкой на руках. Княжонок плакал. Тиче взяла его себе, расстегнула платье и дала грудь. Два мужика, шепотом костеря и князя, и епископа, волокли лохань, расплескав чуть ли не всю теплую воду.

Иона сам взял Матвейку на руки, освободил от пеленок и, улыбаясь, с молитвой окунул, обнес вокруг алтаря, перекрестил и достал серебряный нательный крестик.

– Нарекаю младенца именем Матвей, – отдавая мокрого и визжащего ребенка няньке, торжественно произнес он. – Да будет верным он рабом Божиим, и осенит жизнь его Божья благодать, аминь!

– Благодарим, отче, – за всех ответил князь, кланяясь епископу.

– Ну а ты, дочь моя, что же медлишь святое благословение принять? – ласково обратился Иона к Тичерть. – Я уже и имечко тебе православное подобрал, чудесное имя – Анастасия. Михаил и Анастасия, князь и княгиня Великопермские!

Михаил ошарашенно уставился на Иону. Он ведь даже не думал, что и Тиче тоже надо креститься! Тиче? Нет, это в голове не укладывалось... Спиной он почувствовал, как напряглись сзади Калина, Полюд, Бурмот. Но Тиче осталась безмятежна. Глядя своими черными, нечеловечьими глазами в пустые глаза епископа, она улыбнулась и ответила:

– Спасибо тебе, старый шаман, но мне не нужна ваша вера. Мои боги хорошо заботятся обо мне.

Иону словно окатили ледяной водой. Он отшатнулся, и пустые глаза его на миг совсем прояснились.

– Грешно так говорить, а упорствовать вдвое грешнее! – изумленно произнес он. – Или ты хочешь своих лесных чудовищ на Христа променять?

– Я ничего не меняю, старый шаман.

– Смирись, девонька... – тихо сказал за ее спиной Калина.

– В третий раз спрашиваю, примешь ли крещение? – распалялся Иона.

– Не приму, шаман. Не твой кудесник в меня душу вдохнул, не ему мной и править.

– Бесы, бесы! – закричал Иона, отступая на шаг. – Воистину, имя тебе, девка, – Чертовка, как в народе называют! Раскайся!

Оковы беды стиснули сердце князя.

– Повели же ей, муж! – крикнул Иона.

– Тиче... – без голоса сказал Михаил, глядя на жену.

Тиче и не повернулась к нему, весело и беззаботно всматриваясь в лицо епископа.

– Коли некрещеная, так и не жена тогда! – выкрикнул Иона, уставляя в нее палец. – А коли не жена, то и выблядок твой не князь!

Тиче, не отвечая, развернулась и шагнула прочь.

– Стой! – завизжал Иона. – Братья, держи дьяволицу! Коли сама не хочет, силком заставлю, у всех на глазах нагую в воду загоню!..

Люди вокруг останавливались, оборачивались. Михаил не мог сдвинуться с места, одеревенев от страха за Тиче. Черные монахи вдруг оказались со всех сторон, и князь поразился, как их на самом деле много. Полюд сделал движение загородить Тиче, но палец Ионы уткнулся в него.

– Прокляну!

Полюд застрял на полушаге. Лицо его было в поту. Рослый Дионисий схватил Тиче за плечо.

Тиче вдруг изогнулась, подныривая под его руку, и мгновенно очутилась уже перед Ионой.

– Нагую, говоришь? – смеясь, переспросила она. – В воду?

Она глянула Ионе в глаза своими колдовскими глазами, и епископ словно остолбенел, разинув рот и задыхаясь. Узкое длинное платье змеей скользнуло с плеч Тиче на землю, и Тиче осталась обнаженной, только между высоких, враскос торчащих грудей зеленела на шнурке древняя тамга князя Танега.

Тиче звонко захохотала, сорвалась с места и вихрем понеслась между людей к Колве.

– Тиче!.. – в озарении тоски, отчаянно закричал Михаил и рванулся за ней. Бурмот повис у князя на кушаке.

И Полюд, очнувшись, тоже кинулся за княгиней, расшвыривая с дороги народ. Тиче уже бежала по мелководью, вся в брызгах, словно бледный язычок пламени среди искр.

Забежав по пояс, она изогнулась и рыбой нырнула в воду. И Полюд тотчас же бухнулся в ледяную осеннюю реку, саженьками выбрасывая руки. Бурмот, навалившись грудью, придавил

Михаила к земле, чтобы князь не бросился на верную смерть в остывшую, как булат, Колву. Иона и Исур стояли, одинаково раскрыв рты, а Калина молча отвернулся, каменея скулами.

– Тиче!.. – надрывался князь.

Светлая голова Полюда вынырнула чуть ли не на стрежне, а Тичерть так и не показывалась. Полюд с хрипом набрал воздух и вновь ввинтился в глубину, болтнув над рекой ногами.

– Лодку!.. Лодку!.. – кричали вокруг. Несколько рыбаков бегом понеслись к городищу за своими пыжами из еловых прутьев и шкур.

Полюд снова вынырнул – далеко-далеко на широкой Колве – и опять нырнул, вынырнул и нырнул. И вдруг толпа хором ахнула. Тичерть, живая и невредимая, выскочила из-под воды у противоположного берега, прыгнула на камень, с него белкой перелетела на другой, на третий, юркнула в заросли тальника, мелькнула за ветвями белизной тела и исчезла.

Стая легких пермяцких пыжей, ваяясь с боку на бок от мощных гребков, уже мчалась по реке. Часть их повернула к Полюду, остальные – к камням на дальнем берегу. Пыжи вылетели на валуны, гребцы побросали весла и ринулись в кусты.

Тичерть они так и не догнали. Один из пермяков, придя вечером к князю, долго мялся, виновато глядя в угол. Князь, укрывшись шкурой с головой, лежал на топчане спиной к гостю.

– Не серчай, кнес, – сказал пришедший. – Голая – она бы далеко от нас не ушла, мы бы ее быстро догнали, бежали по следам... Да следы-то ее в парме из человеческих стали... стали рысьи. Не поймать нам ее. Не человек она. Ламия.

Глава 12

Только свети

Калина замерзал. Бездумно плутая, он ушел от Чердыни далеко в парму, напетлял лыжню и на закате, решив идти домой напрямик, зацепил корень и сломал лыжу. Плюнув на свой след, он попер через сугробы и лощины и увяз в снегах, сбившись с пути. Ночь накатила яркая, звездная, но за еловыми шатрами трудно было разглядеть созвездия. Калина взял на Перо Тайменя, как называли эту звезду пермяки. Если не к Чердыни, то уж к Колве он точно должен был выйти. Но он все брел и брел, проваливаясь по пояс, минуя пустые елани, карабкаясь по буреломам, сползая в овражки и взбираясь на верей, а ни города, ни реки все не было. Он продрог, обессилел и наконец свалился под сосной на опушке большой поляны. Он смог только прислониться спиной к стволу и обхватить руками колени. Глаза закрывались сами собой. Сладкая, теплая полудрема-полусмерть заволакивала человека, потерявшегося в зимнем лесу. Калина знал, что погибнет, если не заставит себя ползти дальше, но заставить не мог.

Зачем его вообще понесло в тайгу? Месяц назад в избушку, где Калина имел угол, нагнувшись, вошел старец Дионисий. «Владыка велел передать тебе, храмодел, каким желает видеть собор, – сказал Дионисий, не присаживаясь. – Чтоб был со звонницей и о пяти главах в честь пятого епископа Пермского. А обликом чтоб выражал мысль о поприятии Каменных гор княжьей дружиной. И еще владыка велел, чтоб к Рождеству ты образ этот обдумал и представил ему игрушкой или изографией».

После побега княгини Иона, видно, порядком стал побаиваться князя. Михаил не желал видеть епископа. Дверь в его половину хором заколотили и прорубили новую с другой стороны, чтобы князю с епископом даже не встречаться. Не случайно Иона вспомнил о князе, когда размышлял, каким быть собору.

Калина крепко взялся за этот храм. Он уже лет десять не брался по-настоящему за свое прежнее ремесло – со времени строительства Троицкой церкви в Соликамске. В заказе епископа, в своем возвращении к делу, в значении, которое будет иметь собор для всей пармы, Калина увидел огромный смысл, а может, и перст судьбы. К такой задаче не годилось подходить спустя рукава, по вековой дедовской мерке: трапезная-молельная-алтарь, палатка-бочка-луковка. Немало души растратил Калина на эти леса, реки и скалы, чтобы ставить храм без тайного слова, запечатленного в упругих рядах венцов и серебряном лемехе маковок. Калина и сам точно не знал, чего же ему так хочется сказать, выразить, выплеснуть из себя, а потому и мучился, метался, просыпался ночами, царапал ножом доски стола, рисуя собор. Чтобы охолонуть, подумать наедине с собой, вытряхнуть из головы накопившийся сор неудачных замыслов, он и пошел в лес. Пробежусь, мол, по стуже, а там и разум прояснится. И вот теперь Калина замерзал.

Уже не было ни страха, ни усталости, ни горечи – только бредовая, сладкая, предсмертная истома. С трудом приподняв веки, Калина мутно глянул из-под бровей, задетый каким-то звуком – то ли треском лопнувшего ствола, то ли хрустом снега. Поляна ослепительно-бледно пылала под луною в зубчатой раме ельника. Посреди поляны Калина увидел нагую девушку, стоящую по пояс в снегу. Волосы ее были по-вогульски подняты на макушку и стянуты в хвост. Девушка тихо смеялась и протягивала руку, подзывая, как пса, матерого, сидящего волка, что прятался в четырех одинаковых маленьких елочках, едва торчавших над снежным озером.

«Ламия...» – затлел последний уголек памяти.

Холодный ветер, как сквозняк в теплой мгле, лизнул скулу Калины. Калина вновь приоткрыл глаза. Перед ним на корточках сидела Тичерть и гладила его по лицу.

– Поклон тебе, Калина, от Асыки, князя вогулов, – улыбаясь, прошептала она, сияя нелюдским, полуночным взглядом.

Калина молчал. Губы смерзлись.

– Умираешь, Калина? – спросила ламия. – Замерзаешь? Замерза-аешь... Враг мой замерзает, самый заклятый враг... Страшней князя, страшней сотника, страшней епископа... Может, чего узнать хочешь? Спроси, я все скажу.

Калина чуть приподнял голову. Скрипнул ломающийся ворот зипуна, затрещала обледеневшая борода, отрываясь от груди.

– Где Чердынь? – без звука спросил Калина.

Ламия удивленно и пытливо заглянула ему в глаза.

– Живуч ты, Калина, – улыбнулась она. – А ведь, коли скажу, вдруг спасешься, а? – Она пальцем провела по обмороженной скуле Калины. – Правильно ты шел на Перо Тайменя. Только не дошел немного.

Они опять молча глядели друг на друга. Усы Калины хрустнули.

– Почто спасаешь, ламия? – медленно спросил он.

Тичерьт, точно любуясь, снова нежно провела ладонью по его лицу.

– А баба я, – ответила она. – Жалко мне вас...

Она вскочила, свистнула и помчалась босиком по снежной поляне к дальнему лесу – живая, голая, отбрасывающая черную тень на слепящий снег. Из елочек вывалился волчище и тяжело поскакал рядом, по брюхо проваливаясь в сугробы.

Калина ничком ткнулся вперед, полежал и пополз к синей звезде над лесом. Он уже ничего не думал, не вымерял, не ждал – просто полз, полз, полз по лучу, как по струне. И то ли парма расступилась – расплзались буреломы, отодвигались стволы, – а то ли вправду синий луч с небосвода, рассыпавшегося льдинками, был путеводным, но вскоре лес поредел, как рубаша на локтях, и вдали перед бледной полосой застывшей Колвы поднялись черные зубчатые гребни городища и острога. Чердынь пермским подземным ящером вылезла под луну, чуть посвечивая красными глазами лучин в маленьких окошках.

Калина не помнил, кто его подобрал, кто притащил в тепло, кто раздел, растер, закутал. До первых ростепелей он метался в горячке на топчане, укрытый блохастыми медвежьими шкурами. В дыму ему чудились бревенчатые стены, скаты кровель, тугие излучины закомар, надутые купола под крестами, а то нагая девушка среди снегов, живые округлости ее лица, плеч, груди, бедер – а вокруг мертвая, ледяная неподвижность крещенской стужи. Все это смешивалось, переплеталось, таяло и появлялось вновь; то женское тело, как чешуей, вдруг обрастало лемехом, то бревенчатые венцы вдруг расплывались горячей плотью. Калина звал Айчейль, князя Асыку, вогулку Солэ, что подобрала его, истекающего кровью, на Балбанкаре, а то вдруг мертвецов – Ухвата, Питирима, князя Ермолая. Только к весне он выплыл из лихорадки, будто из трясины, и начал узнавать тех, кто появлялся рядом, – Полюда, Михаила, Бурмота, княжеских ратников, косоротую стряпуху.

Чаще всех рядом бывал Полюд. От него Калина и узнал все новости, когда лихоманка начала его отпускать. Оказывается, через несколько дней после того, как он дополз до Чердыни, князь на рассвете нашел у ворот острога занесенную снегом Тиче. Тиче была еще жива. Михаил стоял на коленях, прижимая к груди ее голову, и мужики, прибежавшие на выручку, долго не могли разжать этих обреченных объятий. Тичерьт принесли в дом, растерли брагой, медвежьим жиром, согрели. Она была почти голая, закутанная в какие-то драные шкуры. Горячка свалила и ее. Приходя в себя, она говорила, что пряталась на дальней охотничьей заимке, но, теряя сознание, начинала бредить на непонятном языке. Князь почти не отходил от нее. Часто посреди ночи его заставляли у лавки, на которой лежала Тиче, упавшего на колени, уткнувшегося лбом в ее бок, сжимающего в руках икону. Когда после крещения Тиче убежала, князь не изменился ни в чем: так же разговаривал, решал споры, делал дела, словно ничего и не

случилось. Но когда парма вернула ему жену и страх за нее перестал терзать душу князя, боль его сломила.

– Любит, – криво и печально улыбаясь, пояснил Калине Полюд.

Набравшись сил, чтобы сидеть, Калина попросил дать ему нож и лучины. Из тоненьких палочек на крышке от бочки он построил маленький храм – как и было велено, пятиглавый, со звонницей. Полюд отнес игрушку Ионе. Вскоре пришел Дионисий и, не глядя в глаза, передал слова епископа: как сойдет снег, начинай ставить такой же, и чтоб высотой под кресты семьдесят локтей.

И пришла весна, и сошел снег, и на облысевшем холме над Колвой русские мужики, княжеские ратники, чердынские пермяки начали рыть ямы, вбивать сваи, выкладывать бутый камень, накатывать венцы храма Иоанна Богослова. Калина, ослабленный, но набирающий силу, сидел, наблюдая, в сторонке на бревне. Дни стояли солнечные и ветреные. В синем небе над Чердыню плыли белые кучевые облака и отражались в темной воде Колвы. По холму, по лесам бежали их тени. На стройке пахло щепой, смолой, оттаявшей землей.

Однажды на стройку пришел Полюд. В последние недели он стал словно сам не свой: молчал, молчал, и в глазах сквозила какая-то неизбывная тоска. Обойдя поднимающийся храм, он пошел к Калине, который стругал топором дощечку лемеха для главки, и присел рядом, глядя куда-то за Колву, в синие леса, над которыми крылом вставал далекий утес.

– Слышь, Вася, – негромко сказал он. – Только тебе открою... Погибну я скоро.

Вести о том, что вогульские хонты вновь появились на Вишере, давно мutilи Чердынь. Если в прошлое лето вогулы так и не пришли, то в нынешнее их уж точно ждать следовало.

– Не каркай, – ответил Калина.

– Не каркаю я... Чую. Достала она меня. Единый-то раз и видел – в Усть-Выме у старого князя Ермолая, и все равно, через восемь лет, достала...

Топор Калины застрял лезвием в расщепе.

– Скажи ты мне, – не глядя, попросил Полюд, – вот ты не только видел, а даже крал ее, – почему же ты жив до сих пор? Сильнее ее, что ли?

Калина молчал.

– А почему пермяки живы, которые ее видели? – допытывался Полюд. – Они что, из другого теста? Почему мы-то все, увидев, гибнем, а они – нет?

– Она – ихний бог, – сказал Калина. – Ихней землей рождена. И живут они на своей земле.

– Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крестим ее, живем здесь уже сколько лет – когда же она и нашей станет?

– Когда на три сажени вглубь кровью своей ее напоим.

Полюд нагнулся и соскреб рядом с сапогом горсть.

– Боже мой, – сказал он. – Боже мой...

Калина отшвырнул дощечку и вогнал топор в комель.

– А правда ли, что у Мишки жена – ведьма? Мне уже ничего не страшно. Убью ее.

– Оставь девку, брат. Какая она ведьма? Разве ведьма елка, на которой высекали катпос? Разве ведьма река, которую переплыть не можешь?

– Добрый ты, Калина. И я добрый. И земля добра. Отчего ж мы помираем?

Калина опять молчал.

– Девчонку я полюбил, Васька, – вдруг сказал Полюд. – Больше света белого полюбил. Ничего мне от нее не надо. Жизнь бы свою отдал за счастье ее. Только бы из могилы выглянул – сотворил ли господь ей счастье взамен меня? И если нет... то нет для меня ничего, ни бога, ни черта...

Калина посмотрел на Полюда. Давно знакомое, обычное лицо его словно бы прояснилось высшей, вечной силой.

– Зимой, понимаешь, скучно было. Я и повадился в городище ходить. Помнишь старика-сказителя, слепца, у которого Иона книгу сжег? Вот к нему и ходил. Сидел, грелся у огня, сказки слушал, как мальчик. Там и увидел Бисерку, Пассэр по-ихнему. Нет, не полюбил, – так просто, любовался. А однажды ночью в остроге усмотрел: лезет в княжий погреб вор. Ну чего там воровать, а? Замок только для красоты висит. А тот с топором, с мешком, чисто ушкуйник. Пригляделся я и узнал мужичка-пермячка, которого с собой привез Иона из Усть-Выма, – Ничейку. Ну, снял он дверь, шасть вниз. Я за ним. И стал он стенку рыть, доставать из тайника кошель с монетами, горшки золотые, блюда – все персиянское... Я, конечно, Ничейку – в шею, добро перепрятал. Но как золото увидел, так сразу и вспомнил про Золотую Бабу. И понимаешь, не золота мне захотелось, не богатства, не власти, не славы, – Золотую Бабу мне захотелось как простую бабу. Обнимать, целовать, под руками почуять... Наваждение чертово!

Полуд ошеломленно посмотрел на свои широкие ладони.

– Смерть как захотелось... Ну, и подумал я... После того как вогулы отняли ее у Ермолая в Усть-Выме, сам небось слышал, что спрятали ее на Пуррамонитуре, в вороньих городищах. А как найти ее – отлили путеводную тамгу и вбили навроде катпоса в ствол сосны, Ялпынгтарыга, что растет на острове на реке Лопсии. И на той путеводной тамге всякие ящеры, совы, змеи... Хрещеному не понять. Кто же разъяснит? Я и прикинул, что здесь-то и некому, кроме слепца-сказителя, который все ихние древние знаки помнит. А как его заставить? Чужому он не скажет. И решил я: женюсь на Бисерке – девка, благо, хорошая. Вот уж зятю-то слепец все выложит. А я пойду и Зариню, Сорни-Най, возьму. Ну, как женятся пермяки – рассказывать нечего. Кто больше заплатит – тот и муж. А сокровищ у меня, спасибо Ничейке, – полон погреб. Вот и посватался я...

Полуд закрыл лицо руками.

– И что? – спросил Калина.

– Согласился старик. Он любил меня. Не знал ведь, что подлец я, что я – последняя волчина... За Бабу Золотую девку хочу взять, которая сама дороже золота. А она, Бисерка-то милая, молча покорилась. Ни словом, ни взглядом не возразила. Я знаю, что любит она другого – Ветлана-охотника. Давно любит и навсегда. Только нищий Ветлан, не на что ему жену купить... Вот я и смекнул: я Бисерку куплю, а потом навроде как ему отдам. У пермяков это дело обычное. И отдам ненарушенную, честную. А он мне за это с Лопсии тамгу принесет. Самому-то мне туда не дойти. Что ж, ударили с Ветланом по рукам. По осени он ушел. Скоро вернется. А я, пока ждал, все ходил к старику, глядел на невесту. Ну и вдруг полюбил ее... Боже, как полюбил-то! И ничего мне уже не надо стало, не надо Бабы Золотой – ее только одну, Бисерку, свет мой, милую, ненаглядную...

– Что ж мешает тебе? – жестко спросил Калина. – Богатство есть, плати и женись.

– Совесть меня мучит, Васька. Люблю я ее. Не хочу ей зла. И отдал бы я ее Ветлану, – черт с сокровищами, черт с Бабой Золотой, была бы она счастлива... Да поздно.

– Отчего ж?

– Оттого, что не вынес я любви своей, рухнул под ее тяжестью... Тайком от всех взял я Бисерку в жены как отступник, от дружины своей тайком, от обряда святого... Нарушил я Бисерку, понимаешь? А она мне отдалась, хоть и не любила. Не хотела отцу перечить... И вот куда мне теперь? Ветлан – гордый, он Бисерку не меньше моего любит. Он ее, нарушенную, не возьмет. С собой что-нибудь сделает. Его не станет – и она уйдет. А я вслед за ней пойду.

– Вот и беда разрешится, – хмыкнул Калина.

– Дурак ты, – с тоской сказал Полуд. – Я ведь здесь поставлен не пельмени жрать, не девок портить, не на нож кидаться... Я должен Чердынь беречь, людей. А я любовь свою сбереечь не могу. И жить нельзя, и умереть нельзя... Что делать мне, Калина? Скоро вернется Ветлан, и кончится мое счастье. А ведь за Ветланом беда придет. Золотая Баба не прощает. За Вагириймой в Усть-Вым она вогулов послала, Асыку беспощадного. Что ж за тамгой на Чер-

дынь обрушится? Я огонь раздул, мне и гасить. Вогулы уже по Вишере бродят... Что же мне делать, друг? Совесть, любовь, долг меня мучат... Помоги...

– На три сажени... – тихо ответил Калина.

Лицо Полюда дернулось. Он положил ладонь Калине на плечо и поднялся.

– Горько мне это слышать... но спасибо, – честно сказал он. – Ты меня помни. А князь вместо меня пусть Обормотку поставит. Я его всему научил. И... прощай.

Дни шли после этого разговора, а ничего не менялось. Полюд по-прежнему разводил караулы, пил квас у князя, ходил купаться на Колву. Храм на холме медленно отстраивался ввысь, врезаясь в светлое северное небо и прорастая в нем разлетом кровель, коньков, закомар. Калина с волнением и тревогой наблюдал, как облекается плотью невидимый никому образ, что явился ему в горячечном бреду, в полутьме душной и низкой избы, придавленной сугробами.

Храм представлял собою массивный и высокий столп-восьмерик, шатрово переходящий в другой восьмерик, поменьше. С четырех сторон к столпу примыкали срубы-приделы, увенчанные бочками с большими главами на барабанах. Малый восьмерик, пронзенный узкими прозорами, гранено взлетал ввысь шатром, на котором расцвела самая большая глава. От прируба, противоположного алтарю, выдвигался корабль трапезной с висячим гульбищем. Трапезная упиралась в мощный четверик колокольни, расширяющийся повалом, над которым на резных столбах вонзались в небо четыре четырехскатных шатра. Эти шатры обозначали Каменные горы, а пятиглавие храма – просторное и раздвинутое, не сжатое в редисочный пучок, – обозначало княжью дружину с князем. Калина, раздумывая, отходил вдоль Колвы по Покчинскому тракту подальше и смотрел оттуда на собор. В бледном свечении облаков храм – измельчавший, утончившийся, словно съеденный светом, – казался Калине гроздью колокольчиков над травяным колком.

За неделю до Ильина дня сломали леса, и храм предстал в том виде, в каком ему и суждено стоять над Колвой весь свой век. На осмотр прибыл Иона, обошел вокруг, заглянул внутрь, где еще тюкали топоры, и, умильно сложив губы, позволил Калине поцеловать крест. Дионисий, хмуро шагавший вслед за Ионой, отвернулся, плюнул и надвинул клобук на кустистые брови. За два дня до Ильина епископ освятил собор, нарекши Иоанно-Богословским, и провел первый молебен. В тот день и пропал Полюд.

Никто не заметил его исчезновения, потому что канун праздника был жутким, как пророчество. Давно уже не падали дожди, и земля высохла, клубилась горячей пылью. Небо затянула мгла, медленно разгоревшаяся угольно-багряным туманом. Тонкая, сияющая линия очертила потемневшие волны парм на востоке и косую скалу у горизонта. Казалось, что по Колве и меж холмов, на которых стояли городище, острог и монастырь, стелется синий дым, ползущий с бескрайнего и далекого болота вдоль Камы. Там, на болоте, который век не гас подземный пожар. По рассказам пермяков, забредавших в те гибельные места, где стояли только убогие деревни людоедов, там в пылающих трясиных жил огненный ящер Гондыр. Но ветер с восхода бил Чердыни прямо в лицо, а болота Гондыра лежали за спиной.

Наконец темно-сизая туча змеями поползла из-за Каменного Пояса и, раздуваясь, зависла вдали над Вишерой, дыбила космы, лучилась, ворочалась. Ветер ударил, как конь в намет, словно хотел вверх брюхом выворотить из земли горы. Колва вспенилась и волнами понеслась на чердынский берег. Из заречных кустов покатились, полетели берестяные пыжи ушедших охотников. Они падали в воду, крутились, переворачивались, а некоторые, точно разумные, стремительно помчались через реку, будто невидимые духи-охранители бросили своих хозяев-охотников и в одиночку бежали домой. Завыли зубцы острожного тына, заскрипели башни, забренчали непрочно пригнанные тесины на кровлях, а одна, оторвавшись, закувыркалась по улочкам. Парма гудела. Валились бочки под потоками, обреченно ложились

наземь плетни и городьба. Ворота, закрытые от греха перепуганными ратниками, загрохотали о засовы, словно в них ломился кто-то из лесу. С Вишеры шла буря.

И тут и острог, и монастырь, и городище увидали, как в сизой туче медленно раскрылось сияющее окно, словно кто-то посмотрел на землю слепящим глазом. А потом окно сомкнулось, и на его месте вылепилось чудовищное рыло, из которого вниз потянулся тонкий язык. Изгибаясь, как девушка, смерч танцевал где-то на берегу Вишеры, а затем, облизав, чего хотел, втянулся обратно в пасть. В вихре загудел и сам собою забил набат единственный колокол собора Иоанна Богослова.

«Беда!» – молнией запрыгало по острогу. С вогульских тумпов и нёроек ползло на Чердынь что-то страшное, нечеловеческое, древнее. И тогда Калина понял, что это Ветлан несет в Чердынь тамгу Сорни-Най, а все демоны Каменных гор идут вслед за ним.

Но ничего не менялось до темноты. Туча висела над Вишерой, и только ураган рвал в клочья воздух. В одичавшем небе носились сбитые листья. Были псы. По вспененной Колве плыли выдранные, переломанные деревья. И на закате, когда уже резало слезившиеся глаза, что глядели на восток сквозь все окна, бойницы, прозоры, щели меж кольев тына, новое известие облетело ошетилившийся, оскалившийся острог: в своей горнице упала и забилась в падучей молодая княгиня, только что оправившаяся от горячки. Расшвыривая столы и лавки, она каталась по полу, срывая одежду, визжа, воя, хрипя, выкрикивая непонятные заклятья, а князь и Бурмот держали ее, зажимая рот, чтобы никто не вспомнил, что она – ламия, а не человек.

Ветер не стихал всю ночь. В соборе Иоанна Богослова епископ Иона служил всенощную. Люди били поклоны и жгли лампы. Ратники стояли по вежам и на забралах, словно к острогу приближался враг. В кремешной тьме над почерневшим городищем поднялись два огромных красных деревянных лица – это пермяки выволокли из тайных ям самых надежных идолов и молились, паля у их ног костры.

Рассвет все не приходил, будто Омель вновь украл солнце. И вдруг солнце зажглось прямо посреди неба – не на краю земли, а на гребне тучи. И туча, как вогульская орда, двинулась вперед, на Чердынь. Полоса дня два-три часа сияла над сжавшимся городом, но туча пересекла Колву и неподъемной крышей надвинулась на правый берег. Туча ползла и ползла вслед за солнцем, съедая остатки света на закате, и все не кончалась. Ветер бесом вертелся над пармой и рекой. Дождя не упало ни капли. Огненная полоса дня вспыхнула последний раз и пропала. Вся Пермь Великая лежала в брюхе у тьмы.

Дикий грохот подбросил землю, выбивая мозги и глаза. Бесконечная корявая молния растреснула небо от Пельма до Казани. И сразу дружный вой взвился с монастырского холма, а ему ревом ответили ратники с северной стены. Калина бросился к Тайницкой башне и взлетел на обход. Многоглавый, многшатровый собор, венчавший гору, был весь освещен вразнобой бегающими отсветами от жгуче-ярких огней, роившихся вокруг куполов, как ласточки. Народ выбегал из собора вон.

Калина скатился вниз, к тайнику, откинул окованную крышку погреба и ссыпался по ступенькам лестницы. Подземный ход вел вглубь. Пробираясь на четвереньках в темноте меж осклизлых бревенчатых стен, Калина чувствовал, как из-под рук убегает и уползает что-то мерзкое, живое, холодное, влажное. Но больше его поразила тишина, царившая в подземелье. Наверху бесновалась буря, и земля об этом знала, но оставалась бесстрастной, неподвижной, вечной. И еще этот ход напомнил Калине другой тайник – тот, по которому он тащил из Балбанкара золотую Вагирью.

Он вывалился в урему у Чердынки, перебежал речку и стал карабкаться вверх по склону. Когда он выбежал к собору, то могучий толчок ветра в спину едва не сбил его с ног. И в мельтешении огней Калина увидел, как на главном куполе крест пошатнулся и, сложенный, не складывая объятий, медленно повалился. В падении он косо спланировал по ветру, как птица, пронесся над шархнувшей толпой и сгинул где-то во тьме.

– Ты, идолопоклонник, храм сгубил!.. – услышал Калина чей-то крик в общем вопле ужаснувшегося народа. Цепкие руки схватили его за горло. Дионисий со вздыбленными волосами, с растрепанной бородой, в рясе, клубящейся за спиной, кинулся душить Калину. Калина оторвал его от себя и швырнул на землю. Дионисий приподнялся – страшный, будто искалеченный, – и пальцем указал на храм у себя над головой: – Храм ли это, храмодел? Гнездо бесовское! Чертову бабу ты изваял, а не храм!

Калина задрал голову и в озарении торопливо отступил на шаг. По пояс из холма, как из сугроба, вздымалась гигантская деревянная ламия с грудями-закомарами, с плечами-маковками, с головой главного купола на гордой шее-шатре – и она протягивала руку-трапезную к четырем елочкам шатров колокольни, в которых волчьими глазами горели два огня.

Рука Калины сама собою отпечатала крест. «Крест!»

Калина бросился к стене алтаря, на ходу разматывая с пояса веревку, как носили все плотники. Когда ставили кресты, он хотел верхний сделать больше, чем все прочие, но Иона велел все пять крестов рубить одинаковыми. Неиспользованный большой крест так и лежал у алтарной стены. Калина поднял его, обмахнул веревкой его распростертые лапы, навалился на крест спиной и примотал к себе.

Подгоняемый ветром, Калина побежал к лестнице.

И вскоре народ, толпившийся на холме, увидел, как через перила гульбища на крышу трапезной полез храмодел с новым крестом на спине. Огни, плясавшие вокруг куполов, застыли. Ветер рвал освобожденную рубаху, трепал отросшие волосы и бороду, шатал человека, на четвереньках пробиравшегося по охлупню к стене закомары. Большой плотницкий топор висел у Калины на груди, зацепленный лезвием за продранный ворот.

Распластавшись на венцах закомары, Калина вцепился в резьбу причелины и выволок себя на скат бочки. Обхватив рукою шею луковки, он стал карабкаться дальше, выше. Изнутри храма к куполу подобраться было невозможно, даже прозоры окон во втором ярусе восьмерика были недостижимы. Прикрытый стеной от ветра, Калина встал сначала коленом, а потом лаптем на растесанный нижний край окна и перепрыгнул на близкую луковку, репьем прилипнув к ее щетинистой лемеховой щеке.

Люди замерли, когда Калина поднялся на ноги, держась за малый крест, и сиганул через пустоту, упав животом на пики раската, широко разнесенные над повалом восьмерика. Забросив ноги, он долго лежал на грани шатра, переводя дух. А когда заворочался, то даже снизу стало видно, что доски под ним потемнели от крови.

Калина полз по шатру вверх, ни о чем не думая, не боясь высоты, не замечая ветра. Его терзала такая боль, словно он зацепился кишкой за зубец, и, чем выше ползет, тем сильнее выволакивает кишки из разорванного брюха. Шатер скрипел и ходил ходуном. Буря выла на его гранях, вихрями оплетаясь вокруг купола. Огромная чешуйчатая луковица вздулась прямо над Калиной, как парус. Летучие огни сновали уже где-то внизу, ослепляли и не давали увидеть землю. Извиваясь, Калина освободился от веревок, державших крест, и намотал их на топор, вогнанный в доску. Крест улегся на скате, вздрагивая и качая лапами. Выпуклый бок купола был на расстоянии руки. Перебирая его лемешины над головой, Калина выпрямился во весь рост. Толчок – и, болтаясь, он повис в пустоте. Он перебросил вперед руку, перехватываясь дальше, подцепил носком зубчатую корону, поверху оторочившую барабан, и оказался лежащим грудью под основанием обломленного креста. Конец веревки он стискивал зубами. Обняв щепастый пенек, Калина выкарабкался на самую верхушку, а потом стал вытягивать к себе свою ношу.

Казалось, что купол храма в буре кругами летит над землей. Где-то вдали сверкали молнии, грохотало, гудела парма. Выл и свистел ветер, отдирая тело от ненадежной опоры. Калина выпутал топор и закрепил крест на веревке за конец лемешины. Крест, как пойманная птица,

бил крыльями, стучал о доски. Несколькими ударами топора Калина снес главке резную верхушку и вколотил пенек креста внутрь купола, освободив квадратную скважину.

Толпившиеся внизу люди разбежались далеко по сторонам от храма, чтобы видеть, как крохотный человек на самой маковке, почти под рукой у бога, станет поднимать крест. Калина, лежа, повернул лицо к небу. «Помоги...» – прошептал он.

Он подтянул к себе крест, подтесал конец и бросил топор вниз. Широко расставив ноги, он медленно приподнялся на коленях, с трудом удерживая тяжелый крест наперевес, как копье. И едва на миг ветер поперхнулся, Калина ткнул крестом в дыру и выпрямился тетивой, всаживая крест отвесно. Ветер ударил, как волна, но Калина уже висел на перекладине, своей тяжестью вгоняя крест глубже в купол.

Окровавленного, обессиленного Калины только и хватило привязать себя к кресту, чтобы не сорвало и не швырнуло вниз. Прижавшись скулой к бруссу, обняв крест, притиснувшись к нему, Калина полулежал на главке, глядя куда-то в темноту, за Колву, за тучу, за небо. И в той бурной тьме он вдруг различил крохотный красный огонек. Калина тяжело мотнул головой, провел трясущейся ладонью по лицу, по глазам. Огонек не гас, мерцал – словно звал откуда-то, кричал о чем-то безмерно важном, тревожном, неведомом: будто о любви, будто о смерти, будто об истине. Красная звездочка горела на вершине косой скалы, что высилась вдали над пармой, как остров, на котором, загнанная необоримой бурей, пылает, рвется и гибнет живая человеческая душа.

– Сполох!.. – закричал Калина, указывая на искорку рукой. – Полюд зажег сполох!.. Вогулы идут!..

И Калина еще увидел, как люди побежали прочь с монастырского холма – под защиту острожного тына. Он оставался один на макушке храма, над пустеющей землей, привязанный к кресту посреди бури, – один, но уже не ждал никого на помощь.

* * *

А к утру буря утихла, словно остановленная этим невиданным распытием. На рассвете Калину, полумертвого, спустили вниз. Три дня острожек не смыкал глаз, ожидая врага. Но вогулы так и не пришли. Не нашелся Полюд, не вернулся из пармы Ветлан, в городище пропала девчонка Бисерка. Наконец князь снарядил заставу: проверить, что случилось на далекой скале, где зажегся сполох.

Застава вернулась не скоро и вести принесла странные. Гора со скалой, где зажегся тревожный огонь, превратилась в сплошную выскирь – ее чертовым тыном окружили вырванные с корнем деревья. Вокруг все было истоптано вогулами, но ни один след не вел на вершину. А на вершине среди валунов чернело огромное кострище и еще валялись дрова – не нарубленные, а наломанные и насеченные мечом. В расщелине одного из валунов и нашли этот меч – меч Полюда. Куда же подевался сам Полюд? Он не мог здесь умереть, потому что не было здесь его останков, и он не мог уйти отсюда, не оставив следов. Буря, что ли, его унесла? Но он бы не бросил меча. А может, Полюд воистину рассек мечом камень и ушел в гору?..

Оттуда, с той скалы, станица принесла боль и мучительное непонимание, которые растекались по людям, сразу впитываясь в сердца. Что за беда погнала сотника прочь из Чердыни, в одиночку навстречу врагу, и что за тьма поглотила его, не оставив ответа? Столь земной, простой, обычный и привычный человек – Полюд – оказался вдруг так дорог всем, что отчаянье, как заморозок, обметало и сковало Чердынь.

Но станица прошла еще дальше, по полосе буревала, которая привела к берегу Вишеры. За рекой поднималась другая скала. И на ее вершине, привалившись спиной к стволу обломанной сосны, лежал мертвец – черный, словно обугленный, не тронутый ни зверьем, ни птицами, ни тлением. Это был охотник Ветлан. Высохшими, скрюченными пальцами он стискивал обло-

мок тамги. Земля вокруг Ветлана была истоптана вогулами. Здесь, от места гибели Ветлана, начался ровный, как по струне, бег смерча, сдохшего у Полюдовой горы. Отсюда побежали на Чердынъ вогулы, но у Полюдовой горы повернули обратно, остановленные сполохом. Отсюда побежал к своей горе и сам Полюд и дотла сгорел на ее вершине в том огне, что обуглил отважного охотника. Следы Полюда нашли рядом с телом Ветлана. И нашли еще одни следы – отпечатки легких девичьих ног. Эти следы вели на обрыв и, уже невидимые, за него – в Вишеру. Никто бы не узнал, что это была за девушка, если бы по пермскому обычаю на лице Ветлана не лежали, зачеркивая мертвые глаза, бусы той, что любила его больше жизни, – бусы Бисерки.

Глава 13

За синие леса

Два года, как два журавлиных клина, проплыли над Чердынью, затягивая, залечивая раны, и сколько еще было их там впереди – сотни? тысячи? тьма? В Москве князь Иван Васильевич потихоньку затягивал подпруги, а в Новгороде бояре Борецкие мутили вечем народ, подбивая предаться ляхам и свеям. Но в далекой Перми Великой все это не находило отголоска. Хватало своих забот. В Афкуле умер шибан Мансур – говорили, жиром разорвало, – и теперь Исур приезжал к Михаилу как равный к равному. Монастырь оброс стенами и кельями, а Иона перестал появляться в остроге, не желая видаться с князем, который замирился с демонами. Вокруг Чердыни рассыпались слободки. На Каме, у Кайского волока, где некогда шалил рыселищный леший Висел, испросив позволения, вятичи стали рубить новый городок среди боров-беломошников, который навек бы повязал вольный город Хлынов-Вятку с вольными городами Соликамском и Чердынью. Не густым, но и не ослабевающим потоком текли в Пермь с Руси замордованные боярами и усобицами мужики-черносошники, селились, корчевали лес, сеяли рожь, поднимали дома, растили детишек. Глядя на них, князьи ратники совсем приуныли на опостылевшей, как зимние сухари, службе, просили волю и перебирались жить за острожный тын, истосковавшись по земле. Заводили пашню, рыли землянки, праздновали свои то ли христианские, то ли языческие свадьбы с пермскими красавицами, и через год уж и представить было невозможно, что этот заросший, как болотная кочка, провонявший навозом, но счастливый мужик с белоголовым пузаном на коленях, со своими вечными лошаденками-коровенками-избенками-бабенками когда-то в малиновом армяке, с мечом и секирой безвылазно, неделями торчал в княжьей гриднице, коротая время между кедровыми орешками, жбаном и похабной тоской. А в княжьей дружине все больше появлялось парней-пермяков, по-охотничьи предпочитавших рогатину и лук шестоперу и бердышу, и приезжие купцы уже не удивлялись, почему у русского князя в сотниках ходит некрещеный язычник с неуважительным прозвищем Обормотка. И даже Полюда вспоминали словно бы с удивлением: неужто и впрямь далекий шихан над пармой когда-то был человеком?

Вогулы пока больше не тревожили пермские земли. Жуть, что накатывала на Чердынь из-за Каменного Пояса, будто утихомирилась где-то там, среди своих капищ и ялпынгов. Оправилась молодая княгиня и вновь понесла – девочку, как сказала старуха-знахарка, а значит, по пермским поверьям, идут спокойные и щедрые годы. Княжич Матвейка, как некогда Михаил с Полюдом, уже ездил в седле за спиной Бурмота, по-прежнему серьезного и неразговорчивого. Но те угли, что когда-то опалили сердце князя, – зарево горящего Усть-Выма, отец на кровавом снегу, проклятие ламии в черных и безумных глазах Тиче, дракон над горой, сраженный Полюдом, – угли эти не гасли в памяти. Они точно упали на дно глубокого погреба, куда никому, даже самому князю, доступа не было, и все еще тлели там. А крест на Богословском соборе, что поставил Калина, так и стоял непорухенный.

И вот однажды весенним днем в Чердыни поднялся переполох. Люди с берега побежали под защиту крепостных стен, ратники рассыпались по двору, бухнул колокол, заскрипели ворота, что-то зычно по-пермски приказывал Бурмот. «Новгородцы! Новгородцы! Роччиз!» – слышалось повсюду.

Михаил сбежал с крыльца, кинулся к Спасской башне. С высоты обхода он увидел на Колве целый косяк больших лодок. Под солнцем на них взблескивали брони и оружие.

«Ушкуйники?.. – всматриваясь из-под ладони, удивился Михаил. – Как же можно? Им сейчас не до нас – с московским князем ссорятся. Да ведь и не пропустили бы их мимо Усть-Выма, Васька-брат первым бы поперек встал...»

Роняя квадратные паруса, лодки веером рассыпались по реке, поворачивая к берегу. В городище гулко стучало деревянное било. Лодки причаливали. Люди, выпрыгивая на мелководье без оружия, спокойно поворачивались к крепостям спиной, подтягивая суда на песок. С самого большого струга из-под палатки-навеса сошли по сходням начальники и уверенно пошажали по дороге в гору, к острожным воротам.

– Бурмот, открой калитку, – крикнул Михаил, спускаясь с башни по наружной лестнице. – Похоже, кто-то свой.

Плечистые, рослые воины в кольчугах, хохоча, протискивались в проем калитки и не обращали внимания на поднятые копыя и натянутые луки дружинников Михаила. И вдруг среди пришельцев князь словно увидел отца – но гораздо моложе, гораздо выше ростом и шире в плечах.

– Васька? – растерялся Михаил.

– Мишка, братец! – завопил богатырь, растопырил руки и бросился к князю.

Они обнялись посреди двора. Десять лет Михаил не видел брата, оставшегося в Усть-Выме щуплым мальчишкой. И вот теперь этот дюжий детина – тот самый Васька...

– Айда в хоромы! – Отстранившись, князь Васька махнул спутникам и двинулся к дому, обнимая старшего брата за плечи тяжелой рукой. – Ключница, браги князьям! – по-хозяйски крикнул он.

Но тотчас же Васька запнулся об кобеля, и пес с ревом вцепился в Васькины бутурлыки-поножи, усаженные железными пластинами. Васька взвыл и выхватил меч.

– Ругай, брось! – рывкнул Михаил.

Ругай, как заяц, полетел от Васьки прочь, но Васька кинулся за ним, да споткнулся, покатился и врезался в поленницу. Поленница рухнула, целиком погребая под собою Ваську. И дворовые, и ратники, и пришельцы дружно ржали.

– Ну, дьявол! – выбираясь из-под поленьев, сказал князь Васька и расхохотался вместе со всеми. – Сатана, чистым духом! Чтоб ты мухомором отравился, чтоб тебя медведь порвал, чтоб тебя колесом тележным переехало!

Ничуть не смутившись, князь Васька поднялся за Михаилом на крыльцо и, входя в сени, вдобавок приложился лбом к притолоке так, что соскочила с головы железная ерихонка.

С Васькой из Усть-Выма прибыл отряд мечей в сто. Здесь наполовину были йемдынские зыряне с князем, которого Васька так и звал – Зырян, не выговаривая его настоящего имени. Зыряне со своим князем отправились в чердынское городище; в остроге они не появились, и Зыряна этого Михаил не увидел. Другую половину отряда составляли устюжане под началом охочего человека Васьки Скрябы. Скряба и подбил Вымского князя на поход, посулив и добычу, и славу. Положившись на слово Скрябы, Васька взял с собой только пяток своих дружинников и сманил Зыряна. А Скряба Михаилу сразу не понравился. Рослый, какой-то словно разрубленный на куски и потом наскоро сшитый мужик, уже лысый, с усмешкой в бороду, с недобрыми суженными глазами. Едва встретившись с ним взглядом, Михаил сразу понял, кто он: ушкуйник. Как сели на Вычегде и Вишере русские князья, так и несподручно стало лихим налетчикам обирать зырян и пермяков: князьи дружины побить могут, Москва к вечу придерется, да и Борецкие, хозяева Новгорода, тоже не пирогами попотчуют, а, глядишь, на чепь посадят. Вот и пришлось ушкуйникам подаваться теперь подалее прежнего – за Каменный Пояс, на Югру, по стопам Улеба и Гюряты. Зато теперь можно молодого вымского князя в упряжку запрячь. Ему, дураку, подвигов охота – он и даром ватаге пособит... Но Ваське Михаил о своих мыслях ничего не сказал. Все же Скряба – гость, и не дело Михаилу его в своем доме чернить.

Пировали до ночи. Скряба незаметно ушел, а князья все сидели. Васька быстро напился, но упасть все никак не мог. Помянули батюшку, помянули матушку, даже князя Василия Темного, злосчастливого епископа Питирима и далекую, почти забытую Верею помянули. Васька

долго и тяжело молчал, узнав, что погиб дядька Полюд, и все никак не верил, что Тиче – дочь Танега, а потом от умиления плакал у Михаила на плече, что старший брат своего первенца и наследника – княжича Матвейку то есть, – в честь него Васькой назвал. Михаил только смеялся, не разуверял. Потом Васька хвастаться начал: кричал, что девок зырянских у него целое войско, из чего Михаил понял, что ни одной нет; что княжество Вымско-Вычегодское как на дрожжах богатеет – из чего Михаил понял, что не только жажда подвигов, но и нужда погнали Ваську и Зыряна ощипывать вогулов. Когда же под конец Васька в горнице стол разрубил и посуду потоптал и пошел во двор мириться с кобелем Ругаем, а там опять врезался в поленицу, Михаил мигнул своим караульным у ворот. Те поймали Ваську, облили водой, натерли уши и чем-то отпоили, чтобы привести в ум. Тогда Михаил и решил серьезно поговорить с братом.

Они снова уселись в горнице, теперь уже за квасом, и Михаил спросил:

– Что же ты, Вася, на вогулов по Вишере решил пойти, где, почитай, никто и не ходит? Чем старый путь по Печоре, через тумпы и нёройки, плох? И как ты собираешься князя Асыку ощипать, если он тебя вдесятеро сильнее и опытнее?

Васька засопел и достал из-за пазухи плоский кожаный мешочек, вытащил из него сложенную холстину и расстелил ее на столе. На холстине были начерчены реки, обозначены горы и селения.

– Изография, – пояснил Васька. – Скряба составил. Вот, глянь: к вогулам все ходят где? К полуночи, через остяков, от Печоры по Хлебному Пути на Мокрую Сыню. Дальше вот – по Щугору через перевал Перна до Ляпина. Или вот с Илыча по Егра-Ляге. Еще вот – с волоком от Хара-Маталоу до Бур-Хойлы. Я и сам поначалу хотел с Нёлса на Лозьву. Только уже нельзя. Вогулы там везде крепостей понаставили: Ляпин, Лозьвинск, Герд-Ю, Юган-Горт, Обдор, Игрим, Тебенду, Войкар, Халь-Уш, Сюрэськар-Роговый, ну и вообще – сам видишь. Все пути перекрыты. А Скряба говорит: давай, мол, ближе к полудню брать, с брюха в Югру влезем. И мы пойдем по Вишере до Улса, с него прыгнем на Сосьву, а с Сосьвы на Лозьву ниже Лозьвинска. Оттуда напрямик до Пельма, понял?

– Два волока, – сказал Михаил.

– Плевать, доволочемся. Главное, говорят, там на туманах вогулы Золотую Бабу прячут.

– А я слышал, что на Пуррамонитуре.

– Брешут. Я весной с остяком разговаривал – на туманах.

Михаил глянул на брата. Тот не отрываясь смотрел на карту, прижав извилистые реки растопыренными пальцами, словно сквозь них, как сквозь рану, видел пульсирующее сердце Каменных гор. И Михаил вновь услышал тот иногда тихий, а иногда оглушающий, но никогда не умолкающий зов, что срывал людей с мест и увлекал к гибели. Одно за другим поплыли в памяти князя лица, будто освещенные изнутри кровавым пламенем, – отец, Питирим, станица Хвата, Полюд... Кто еще будет? Кто остался?.. Тоска затопила душу князя.

– Вася, брат, прошу – не ходи, – тихо сказал Михаил.

Васька сложил холстину и серьезно усмехнулся:

– Не сгибну, Миш. Не из таковских.

На следующий день, проспавшись, Васькина дружина погрузилась в лодки и поплыла вниз, до Вишеры. С дружиной ушли Скряба и Зырян. Из Чердыни с ними сбежал Михайлов человек Семка-Дура. Говорили, будто он ночью упился и, пока храпел под столом, с его женой Скряба повеселился. Вот Семка и увязался отомстить – парма все покроет. А князь Васька остался еще на день с дружинниками из Усть-Выма, рассчитывая верхами проехать через Полюдову гору и встретить свое войско у камня Ветлана.

– Охота поклониться месту, где дядька Полюд смерть принял, – пояснил Васька.

Едва розовое сияние восхода очертило на горизонте Полюдову скалу, Михаил вышел провожать брата. У мостков под холмом Ваську и ратников ждала барка, чтобы перевезти на

левый берег. Тичерть тоже вышла на крыльцо, кутаясь в пониток, который не сходил на ее животе. Михаил глянул на жену – глаза Тичерти были черны, как пещеры.

– Не бойсь, – хмыкнул Васька, видя, как побелели скулы брата.

Единым махом взлетев в седло, он сразу тронул коня. Сиреневые рассветные облака перьями плыли в светлом небе над Чердынью. В уреме под острожным тыном пели соловьи, да заливались петухи по слободкам. Весело задрал копыта с алыми яловцами, шестеро всадников проскакали в ворота и пустили коней наметом вниз под гору. Стук копыт звонко дробился на зубцах частокола в прозрачной птичьей тишине. Князь сделал несколько шагов вслед всадникам и остановился, словно дошел до края земли. И тут с крыльца послышался стон. Побледнев, Тиче опускалась на ступеньки. Князь рванулся к ней, подхватил, прижал к себе. Это начались схватки.

– Повитуху! – властно крикнул князь людям.

«Бог даст сына – назову Васькой», – подумал он.

Но родилась девочка, которую Иона окрестил Анной. Новые заботы отвлекли Михаила от тяжелых мыслей о брате. Зная, что русские по-особому относятся к рождению ребенка, из Афкуля с подарками приезжал Исур. Однако, узнав, что брат князя пошел на Асыку, а князь не сообщил о том ему, шибану, Исур обиделся и уехал. Шли дни. Острота тревоги сглаживалась. Никаких вестей из-за Каменных гор не доходило. Васька и еще сотня людей затерялись где-то среди идолских рек и священных болот вогулов. Осенью донесся слух, что с Вишеры в Каму и дальше на Вятку, не завернув ни в Чердынь, ни в Соликамск, быстро, как воры, пробежала какая-то русская ватага. Что это были за люди, почему так торопились – никто не знал. Князь удивился такому, но скоро забыл. А когда осень стала иссякать и деревья растеряли свое золото, к Чердыни снизу приплыла большая лодка в сопровождении двух пермяцких пыжей. В лодке находились четверо йемдынцев и князь Зырян. Они принесли в острог, в терем к Михаилу, совсем седого, умирающего старика. И Михаил узнал в нем восемнадцатилетнего Ваську.

Его положили в той же горнице, где висела зыбка маленькой Анны. Тиче ходила и за ребенком, и за Васькой. Хлопот с ним было немного. Васька не приходил в себя и бредил совсем тихо, шепотом. Ночами, слепо глядя на огонек лампы, Михаил сидел между братом и дочерью, весь обожженный новым горем. Палящая боль не давала Михаилу спать, пока голова его сама собой не падала на колени брата. Тогда Тиче – исхудавшая, но с прежним ведьмачьим огнем в глазах – вставала, бормоча заклятья, гасила огонек лампы голыми пальцами и, безумно улыбаясь во тьме, шла за Бурмотом. Бурмот уносил Михаила к себе, недобро оглядываясь на ламию, и до утра караулил его, сидя на краю топчана и положив меч на колени.

Князь Зырян, сгорбленный и почерневший от пережитого, понемногу преодолевая себя, рассказал Михаилу, что же случилось там, в пельмской земле.

Вверх по Вишере до устья речки Улс отряд дошел за десять дней. Васька всю дорогу был весел и любопытен. Он с увлечением орал всякую чушь под стеной Говорливого камня, хохоча в ответ эху. В Колчине пил настойку из мухоморов. Купил своей девушке серьги с каменными слезами на Щугоре. На Велгуре ловил хариусов. Крестился, раскрыв рот, когда плыли мимо огромных каменных идолов Пермяцких Чурков – вогульских великанов, хотевших сбросить скалу в Вишеру и окаменевших от колдовства пермского пама Отши. На Шелюге Васька подрался с каким-то ушкуйником. На Писаном камне перерисовывал древнюю карту Вишеры, начерченную на скальной стене. Перевернулся в лодке у камня Боец и ходил смотреть чудские копи на речках Золотихах. Голосковский Чурок он проспал, а в деревне Вая опять напился какой-то дряни.

По Улсу шли вверх два дня. Опять смотрели чудские копи на Золотанке, а зыряне ходили поклониться знаменитому идолу Пели с серебряной бородой на речку Пелю. Доплыв до речки Кутим, любовались угрюмыми вершинами Кваркуша. Где-то дальше лежала речка Лямпа –

там жили лумпы, болотные великаны, у которых рукава от малицы хватало на три человечески шубы. Немного поднялись по Кутиму, вышли на берег и несколько дней волочили лодки через невысокий перевал. С перевала было видно, как реки разбегаются с гребня Каменного Пояса – одни в Саранпал, на закат, другие в Мансипал, на восход. Добрались до истока Сольвы, двинулись вдоль суровой громады Ялпынга – святой горы, увенчанной гребнем издалика различных идолов. Наконец доползли до ключа, которым начиналась ангельски-лазурная речка Шегультап. Проволочились по ее дну до впадения Малого Шегультапа, поплыли дальше. Без приключений и встреч в три дня догребли до Сосьвы – вогульской реки Тагт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.